

Аксенов
Акунин
Алексиевич
Арабов
Арканов
Архангельский
Битов
Быков
Варламов
Веллер

Володарский
Генис
Гладилин
Гринберг

Евтушенко
Жадан
Иличевский

Иртеньев
Искандер
Кабаков

Кононов
Кох
Лимонов
Липскеров
Лукьяненко
Минаев
Орлов

Пелевин
Пеленягэ
Поляков

Прилепин
Проханов
Распутин

Сорокин
Стругацкий
Тарковский

Терехов
Толстая
Улицкая
Успенский

ВЕЛИКИЕ
ПИСАТЕЛИ
ЗЕМЛИ
РУССКОЙ

ИГОРЬ

СВИНАРЕНКО

ВЗР

Игорь Николаевич Свинаренко

ВПЗР: Великие

писатели Земли Русской

Серия «Диалог (Время)»

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=21976972

ВПЗР: Великие писатели Земли Русской: Время; Москва; 2016

ISBN 978-5-9691-1523-1

Аннотация

Игорь Свинаренко – прозаик, журналист и редактор – еще одним своим профессиональным занятием сделал застольную беседу. А с кем в России поговорить по душам и со вкусом? Конечно, с ВПЗР, «Великими писателями Земли Русской». Аббревиатура эта иронична лишь отчасти, многие литераторы применяют ее к себе всерьез, особенно если разговор застольный, а собеседник умело провоцирует и подначивает – по этой части он мастер. Сорок писателей приоткрыли ему душу (порой не стесняясь в выражениях), а он собрал все в книгу и выложил на продажу. Получилось местами возмутительно, но зато всегда интересно.

Содержание

23 года спустя	5
ВПЗР	12
Василий Аксёнов	12
Борис Акунин:	71
Светлана Алексиевич:	83
Юрий Арабов:	123
Конец ознакомительного фрагмента.	127

Игорь Свинаренко

ВПЗР: Великие

писатели Земли Русской

© Игорь Свинаренко, 2016

© Валерий Калныныш, оформление, 2016

© «Время», 2016

*** * ***

23 года спустя

Вот ровно 23 года назад я допросил первого своего писателя – это был Александр Кабаков. В тот раз мы говорили про автомобили, притом что сам он не водит. Про то, что с первого западного гонорара он хотел было купить Jaguar, но в последний момент передумал и набил чемодан твидовыми пиджаками. После мы с ним много-много раз вели беседы, к моему – не знаю, как его – удовольствию. И так двадцать с лишним лет я всё говорил и говорил с писателями, интервью копились и копились – и вот накопились.

Кабаков – прозаик. А вот первый русский поэт – Иван Кононов. Первый, кого я увидел живьем, с кем разговаривал и пил водку. Это случилось в 1975-м, когда мы с ним поступали на журфак МГУ. Через лет этак тридцать после первой встречи я его спрашиваю:

– Так это ты сочинил народную песню «Левый, левый, левый берег Дона...»? Это правда?

Таки меня не обманули.

Еще один народный поэт – Виктор Пеленягрэ, автор «Как упоительны в России вечера» и «Потому что нельзя быть красивой такой». Которые я много раз пел в пьяном виде то с «Белым орлом» Вовой Жечковым, то соло. Трудно интеллигенту придумать более кабацкую песню, чем эти! Возможно, я пристрастен, но уж вы сами выкидывайте слова из песен,

коли есть охота.

Надо сказать, что писатели – это обычные люди, как все. Есть интересные, есть скучные. Вот вторые мне не интересны, даже если они внесли страшно значимый вклад или достигли рекордно больших тиражей. Я не критик, не литературовед, не филолог. Я писателям ничего не должен и читать все, что они настрочили, – не обязан. Не нравится книжка – не успев даже дочитать, выкидываю ее с балкона или на худой конец выкладываю на столик у будки консьержа. Цеховая принадлежность персонажей, которых я выбираю для интервью, не важна для меня.

Интервью я брал по работе много у кого – это режиссеры, артисты, художники, даже журналисты, военные, бандиты, убийцы, сатанисты, президенты, короли и прочие. Я начал этот процесс – речь про большие интервью, за жизнь, а не про актуальное, не про злободневное, – в 1993 году. Как раз тогда я перебрался из ежедневной газеты, в которой имел удовольствие командовать отделом преступности, в глянцевый журнал, первый в России. Это был «Домовой». Потом – «Медведь». Много пространных интервью сделал я и для больших газет, и для разных сайтов.

В какой-то момент я обнаружил, что у меня незаметно накопилось огромное количество интервью именно с писателями! Конечно, они попросились в отдельную книжку, мы же страна литературоцентричная, в хорошем смысле этого слова. Да и в плохом тоже. Дело не только в том, что пи-

сателей и особенно поэтов у нас убивали за их тексты, да даже и просто за идеи, – всего лишь за разглашенные (изреченные) мысли. И не в том, что русских литераторов вынуждают пророчествовать, предсказывать, разъяснять историю, философию, политику и веру. Хотя и в этом, конечно, тоже. Главное в русской литературоцентричности то, что не только члены союзов писателей, но и вообще большая часть населения страны, вместо того чтоб делать деньги, или хотя бы сеять хлеб, или *пошивать* джинсы, бросает полезные занятия, плюнув на них, и занимается сочинительством. А именно: придумывает странные идеи, увлекается заведомо ложными измышлениями, создает новые жанры, маниакально рифмует (Грозный – Сталин, опричники – нацгвардия, империя – СССР, Ермолов – Кадыров, поехали – понаехали и т. д.) и вообще, увлекшись «духовностью», пренебрегает материальным и уничтожает его походя и навязчиво предлагает пиплу аскетическую диету, приличествующую отшельнику в скиту. В итоге из всех толкователей политики и предсказателей русского будущего первое место делят Сорокин с Пелевиным, вот как раз писатели, – причем с обоими я немало разговаривал, снимая перед ними шляпу. Точно ли эти двое, которых я поминаю то и дело, надо не надо, теснятся на вершине олимпа? (И еще Солженицын.) Точно сказать не могу. Но думаю, это оттого, что они как-то особенно меня зацепили. Чем именно? Какая разница! Зацепили – и всё. Так бывает с людьми, и надо уважить их подсознание,

вот мое в том числе. Это же хорошо, когда человек смотрит на некую тайну раскрыв рот.

И вот эта отдельная книга про писателей в какой-то момент оказалась готовой. Дальше пришлось ее сократить почти в два раза, чтоб не слепить неподъемный талмуд, который развалится от веса и толщины, на теперешних-то клеях. Я уж давно в ремесле и сокращения провел легко и безболезненно.

Странно – или, напротив, не странно, что говорил я с ВПЗР не столько о том, как они сочиняют тексты и как продвигают духовность, сеют разумное, доброе, вечное, – сколько про страны и континенты, про баб и про водку, про зависть и ненависть, про разочарования, про безумие, без которого никто вам не обеспечит крепкой литературы, не в последнюю очередь и про деньги. Еще про что-то, всего не упомнишь. Чаще всего это происходило под водку, которой было много, посреди трепа и скабрёзных анекдотов, то и дело – матом, и не всегда удавалось разобрать, где ВПЗР врет, где просто искажает, где принимает и выдает желаемое за действительное, а где угрюмо и тупо режет правду-матку. Иные спохватывались и упрасивали меня не публиковать текст. Таких немало. Один, *нехай би він сказився*, спохватился еще в ходе интервью – и умолял меня тут же стереть файл с аудиозаписью, и после всем рассказывал, что я его подпоил и пьяному и дурному подсунул диктофон. (Да на хрен ты мне нужен, подлавливать тебя? От самомнение...)

Кстати, это вполне писательское поведение, я щетаю. Чего ж придирааться к людям-то. Не от хорошей жизни они пошли в ВПЗР – тут и нарциссизм, и вера в свою миссию, и желание учить народы, открывать глаза поколениям, вещать истину и прочее в таком духе. Но можно ли за это осуждать людей? Пусть лучше так...

Само собой, за эти двадцать с лишним лет что-то изменилось в жизни и деятельности писателей, но не вижу смысла делать *update* – это же не учебник, не научная работа, а выхваченные из жизни моменты, может даже моменты истины. Начни поправлять, и дополнять, и обновлять, поясняя и сверяя старую жизнь с сегодняшней и делая вид, что жизнь шла непрерывно и оставалась все эти 23 года всё той же, какой была, – есть опасность, что все засушится и развалится. Или просто ничего не получится. Вот как было сказано в часы интервью, так пусть и останется. Ну как скорректировать и уточнить настроение? Пожалуй, это невозможно.

По разным причинам в эту книгу не попали интервью с авторами вот какими, по алфавиту, а не по рейтингу: Эдуард Багиров, Кир Булычев, Андрей Гальцев, Андрей Дмитриев, Любовь Небренчина, Оксана Робски (если кто помнит), Вадим Степанцов, Сергей Шаргунов, еще разные другие, всех не счесть.

Про кого-то я вовсе не написал. Сколько больших писателей осталось за бортом этой книги! Ничего личного. Просто как-то так получилось, что никто не заказал мне интервью

с ними. А я ж не для забавы, не по прихоти тасую буквы. Исторически сложилось так, что с 1973 года я пишу за деньги, – как раз тогда я пошел в 10-й класс и стал внештатным корреспондентом «Макеевского рабочего». И в книжке образовались зияющие пробелы. Но уж так шла жизнь! И это надо как-то принять.

Американская психиатрия вообще учит, что написать роман нельзя без серьезного повреждения психики, без одержимости навязчивой идеей, – нормальный человек после работы лежит на диване и пьет пиво перед телевизором, зачем же ему все бросать и бить в одну точку без сна и отдыха, отказывая себе в получении удовольствия. Кстати, та же штатовская психиатрия описывает и гармонически развитую личность (до боли знакомый термин!), но резервирует этот диагноз за унылыми, серыми людишками, до смерти скучными, какими и виделись, и были так называемые строители коммунизма.

Обратите внимание, классики почти сплошь с серьезной крезой – хоть Достоевский с припадками, хоть Толстой с навязчивым дауншифтингом, хоть Пушкин с сатириазом и лудоманией. В этом смысле моим современным собеседникам до классиков еще далеко. Я им всем желаю славы, гонораров и прочего счастья. Ура!

Кстати, почему бы мне за эту книжку не дать докторскую степень *honoris causa*? Смотрите, я исследовал же целый пласт русской литературы, истории и чего там еще! Со-

гласен принять степень кандидата хоть филологических наук, хоть исторических, хоть психологии. Да мало ли каких. Мне все равно.

Автор

ВПЗР

А знаете, какой я вам про себя расскажу сюрприз: как меня стукнула об землю лошадь и сломала руку, когда я после дурмана очнулся, я сказал себе, что я – литератор.

Из письма Льва Толстого Фету

Василий Аксёнов Итээровский костер

Первая громкая и прочная слава пришла к Аксёнову когда он был молодым парнем – целую жизнь назад! И с тех пор она не проходила, не ослабевала. Он уж покинул нас, а последняя его книга, которую он, к счастью, успел дописать – мемуары про шестидесятников, замечательно продается: 25 000 экземпляров за три дня, хвастал мне знакомый книго-торговец.

Сперва Аксёнов прогремел – не первым, но громче всех первопроходцев – как автор молодежной прозы. Потом – как самый, может, яркий представитель советской богемы, с загулами, путешествиями, романами с интересными женщинами, богатством, – да-да! После стал одним из основателей альманаха «Метрополь» и автором самиздата. За его книги

реально сажали!

Перед самой Олимпиадой-80, которая, слава богу, заменила собой построение коммунизма, он уехал в Штаты вроде как читать лекции по русской культуре и «творческому письму», – но на самом деле, все понимали, в эмиграцию... Там он работал профессором в малоизвестном маленьком университете, а главное – писал и читал нам вслух написанное по «Голосу Америки». Своим вкрадчивым голосом. Давая нам подышать заманчивым воздухом свободы. Становилось легче, оттого что где-то вдалеке, есть, как тогда казалось, высшая справедливость и вселенская гармония. Сколько надежд мы в те наивные времена возлагали на Америку! Это была как бы платоническая любовь по переписке. При телесном контакте все оказалось намного прозаичней; хотя что-то в ней, конечно, таки было и есть...

После двадцати с лишним лет жизни в Штатах Аксёнов жестоко и непоправимо разочаровался в тамошних издателях (ну а чего он хотел – чужбина все ж таки!), проклял их и вернулся не то что в Россию – это было бы для него слишком сильнодействующим средством после привычки к Западу – но на этот берег Атлантики, в пространство между Биаррицем и Москвой.

В новой России Аксёнова поджидал подарок судьбы. Прежде он был автором все же больше для яйцеголовых, – но после успеха телесериала «Московская сага» его узнали и полюбили домохозяйки и вообще плебс!

После чего Василий Павлович получил первую в своей жизни литературную премию – «Русского Букера». Вернувшись на родину – не то что с вещами, но, по крайней мере, с половиной вещей (еще же Биарриц), писатель тут на восьмом десятке пережил вполне настоящий триумф.

Если серьезно, если объективно, то книги его далеко не всем нравятся. Вплоть до резкого неприятия и разгромной критики. Но это не имеет никакого значения. Книг писателя можно и вовсе не читать, не они создают ему масштаб – но жизнь, но судьба! Таки главное в Аксёнове – его биография, его поступки (кроме книг), то, что он красавец и боец. И победитель – в конечном счете. Он вытащил счастливый звездный билет, и удержал его в руке несмотря ни на что, и не отдал никому.

А столько ведь было поводов и случаев!

Вот таков вкратце промежуточный (он был еще жив, когда я писал эти строки) итог жизни и деятельности Василия Павловича Аксёнова. Подведенный спокойно и тихо, уж после шума и гама его 75-летнего юбилея, отгремевшего летом 2007 года...

Сам я не раз с ним разговаривал. С тех пор как он стал наезжать в Москву, мы то и дело пересекались. Я о чем-то его спрашивал и говорил, что надо бы мне его поплотней расспросить, но всякий раз думал – каким странным будет этот разговор! Лживо хвалить его книги – кому из нас это было бы нужно? Ругать их – это нужно еще меньше. Молчать

о них – в принципе можно, но о чем тогда разговаривать? Он смотрел мне при этом в глаза, улыбаясь не очень весело и не очень грустно, он как будто читал мои мысли и понимал их... Мне кажется – точно читал и даже разделял. И мы деликатно сворачивали с темы интервью куда-то в сторону. Я понимал, что дело не в текстах, это символ эпохи, никак не меньше...

Аксёнов Василий Павлович родился 20 августа 1932 года в Казани. Окончил 1-й Ленинградский мединститут (1956). Публиковаться начал в 1959 году, в 1960-м стал профессиональным писателем.

Прославился легальными советскими книгами «Коллеги», «Звездный билет», «Затоваренная бочкотара», «Остров Крым», – и неподцензурной – «Ожог».

А также участием в знаменитом скандальном альманахе «Метрополь» (1979).

В 1980 после отъезда в США сразу же был лишен советского гражданства. Жил и преподавал в Америке двадцать четыре года.

Много писал и печатался. Написал там одну книгу на английском языке: повесть «Желток яйца» (1991).

Уйдя в отставку, уехал из Америки и стал жить на два дома – Биарриц и Москва; указ о лишении его советского гражданства был отменен в 1990-м.

В январе 2008 года писатель попал в Москве в автомобильную аварию и надолго залег в больницу. В сознание не приходил. Газеты принялись писать, как обычно в таких слу-

чаях, что врачи делают все возможное, но...

ГУЛАГ

Писатель часто говорил: «Если бы не революция, вряд ли бы мои родители встретились». (Здесь и далее – цитаты, надерганные из разных записей и высказываний В. П. Аксёнова.)

Отец Василия Павловича родился крестьянином в рязанской деревне. Подростком уехал в Москву, где работал на электростанции. При советской власти стал видным начальником – в масштабах Казани. Мать же, в будущем знаменитая писательница Евгения Гинзбург – происходила из еврейской интеллигенции. Совершила самоотверженный поступок: вместо того чтоб уехать учиться в Женеву, куда ее отправлял отец, известный фармацевт, ушла в революцию и к Павлу Аксёнову.

Василий Павлович потом со слов отца рассказывал: «Они – а это был руководящий состав Казани, то есть первый секретарь обкома, начальник НКВД, редактор местной газеты, в общем вся элита города, жили коммуной в большой квартире, где у каждого была комнатенка; моя тетя Ксения готовила для них. Утром они выходили, брали извозчика и ехали в обком, в НКВД... Так они жили до какого-то времени, получая так называемый партмаксимум. Это был конец 20-х годов. А в самом начале 30-х уже началась колоссальная

коррупция. У партийной элиты появились автомобили. Мой отец был мэром города Казани – председателем горсовета и членом ВЦИКа. Ему дали автомобиль с телохранителем, квартиру из пяти комнат, возможность ездить в какие-то загородные дома отдыха».

Бабушка Авдотья Васильевна отцу говорила: «Пашка, высоко ты залез, а сверху-то больней падать». Как чувствовала! Ее сына забрали в 1937-м. «На суде позорили “банду Аксёнова”. “Агента и вредителя” приговорили к расстрелу. Отца вывели конвоиры из зала суда и повели по коридору. Вдруг выскочила маленькая старушка и осенила его крестом. Это была Авдотья Васильевна. Она закричала; “Пашка, ничего не бойсь. Без Божией воли волосок не упадет с головы!” Привели отца в смертную камеру...» И он сгинул; ну а что – расстреляли, как обещали; что тут еще думать?

В том же 37-м, за полгода до Аксёнова-старшего, арестовали мать писателя. Обвинение взяли вроде с потолка, как водится – троцкизм. Но тут чекисты, сами того не зная, попали в точку: в юности Евгения Гинзбург входила в подпольный кружок троцкистов, распространяла листовки! Ее отправили на Колыму. Где она отсидела в лагере 10 лет и написала про этот опыт книжку «Крутой маршрут», которая, по довольно широко распространенному мнению, с точки зрения литературной превосходит аналогичный «Архипелаг ГУЛАГ». (Я прочел ее в свое время в самиздате и помню разительные страницы про то, что дети в лагере рисовали

только бараки, вышки, зэков, охранников и овчарок – ведь они больше ничего в жизни не видели, там не было даже деревьев.)

Арестовали, значит, родителей – а там подошла очередь сына. Его взяли в день рождения, когда ему стукнуло пять лет.

«Приехали ночью, на черной эмке. Два чекиста. И чекистка, в черном кожаном реглане. Она дала мне конфету и сказала, что отвезет меня к маме и папе. (На этом месте Дуня Смирнова, разговаривая с Аксёновым в “Школе злословия”, прослезилась, да рассказ и правда жуткий, сам писатель не зря его никогда не выдавал целиком со всеми деталями, а только кусками – это тут все собрано. – И. С.) Последнее, что видел – бабушку и няню. Две старухи русские стояли на крыльце и выли в голос. Я их никогда не забуду».

«Привезли в коллектор детей арестованных; я помню только огромную спальню – там было около ста детей. Помню почему-то, что они постоянно дрались подушками».

У мальчика была игрушка – розовый львенок. В огромной комнате кроватей на пятьдесят маленький Аксёнов заснул в слезах, утром просыпается – львенка нет, сперли.

«Видимо, мои родственники сначала не знали, где я, а потом нашли и стали появляться за зоной: из окна я видел то и дело фигурку бабушки или тети. Родственникам нас не отдавали, все их просьбы отметали».

«Потом нас стали развозить кого куда, в разные стороны,

по специальным детским домам для детей врагов народа. (По тогдашней практике, им меняли фамилии и воспитывали в “правильном” духе.) Меня везли как Ленина – в опломбированном вагоне. В Кострому. Приют размещался в здании монастыря, я помню, что там были своды, и в некоторых местах были видны плохо замазанные фрески. На стенах нашей спальни просвечивали лики святых.

Плохого в том детдоме было, видно, немало. Я был совершенно одинок, это было что-то ужасное. Никаких издевательств не было, просто это был колоссальный стресс. Но было и что-то хорошее. Там я встречал новый, 1938 год и хорошо запомнил, как утром каждый нашел у себя под подушкой подарок от Деда Мороза – шоколадку, пряники и игрушку».

Особо запомнилось вот что: «Там никто ничего не читал». В детдоме он провел полгода.

«И вдруг там появился, как мне показалось, мой отец. Я к нему бросился с криком “Папа!” Но это был не он, а его родной младший брат, мой дядя».

Как мощна эта жуть, как силен этот садизм, это людоедство, когда малых детей забирают у матери с отцом навсегда, чтоб потом подсунуть им бывших детей, повзрослевших, в виде чужих советских хамов, дикарей, скотов, павликов морозовых! Которые сочтут за честь сдать родителей чекистам на расправу! Это отчасти и удалось с Аксёновым: вот, он не узнал дядю, принял его за отца. Потом в Магадане его не

узнает мать. А он сообразит, что это она – потому что кто же еще мог в ее комнате расположиться по-хозяйски? Не с кем путать. Потом та картина повторилась с отцом, которого он принял, конечно же, за чужого человека – когда тот вернулся после восемнадцати лет лагерей. С Аксёновым, значит, это удалось только отчасти – а вот со страной, с народом это удалось вполне! Сколько же у нас дремучих хамов, которые уверены в своей правоте, поддерживают друг друга и жадно ловят сигналы сверху – о, пойдём бить грузин! Или еще кого почернее! Или антифашистов! А беременная Бахмина пусть сидит, чем она, говорят, лучше других! И никто их не одергивает... Это пройдет – или теперь всегда так будет в стране? Она, может, уже совсем не наша и нашей никогда уже не будет, не сможет стать?

И еще в тему этих детских лагерей ли, детдомов. Вспомнилось кино «Республика ШКИД», вообще все эти истории про опекаемых чекистами беспризорников. С чего бы спецслужбам заниматься детишками? Я вижу только одно логичное объяснение: отца, значит, расстрелять, мать – на Колыму, и вот вам, пожалуйста, готовый беспризорник, теперь надо из него воспитать такого «любера», который будет мочить очкариков да и вообще всех, на кого натравят. Эту схему придумал какой-то политтехнолог, предшественник наших современников Суркова и Павловского.

«К тому времени [аксёновского] дядю, доцента Сталинабадского института, выгнали с работы как брата врага наро-

да. Прежде чем прийти в НКВД на Черном озере в Казани, он выпил стакан водки. Придя туда, он стал стучать и требовать, чтобы ему отдали ребенка. К тому времени Сталин где-то уже сказал: “Сын за отца не отвечает”, – и дядя давил на чекистов именно этой фразой. Вдруг ему сказали: “Пройдите вот сюда”, – где дали бумаги “на получение” меня в детдоме».

Казань

«Он отвез меня в Казань и отдал меня моей тете – Ксении. Это была большая семья Котельниковых-Аксёновых. Там были маленькие дети, тетя Котя, тетя Ксения, баба Дуня. Чудесные люди, которыми может гордиться Россия. Мне так там нравилось, в этой семье!

Но тут из камеры НКВД (это называлось – на “Черном озере”) вернулась моя бабушка Ревекка; ее арестовали вместе с моим чахоточным дедом, его забили насмерть, а ее отпустили, привезли домой, швырнули в комнату... Я запомнил: это место, где она жила, называлось Попова Гора. Меня отдали этой бабушке Ревекке по ее требованию, – но сама она уже ничего не могла делать, сидела в полной прострации.

А я кричал: “Хочу домой на Карла Маркса!” (К тете Ксении.) Бабушка Ревекка и отдала меня туда, и я жил в этой большой семье, гулял в огромном проходном дворе, где было много детей. Я прижился там. Ходил в школу – лучшую

в городе, № 619. Сам как-то пристрастился к чтению. В 10 лет читал “Войну и мир”. Наслаждение! Особенно увлекали меня батальные сцены. Потом начал читать стихи».

«В Казани жил в переполненной коммуналке и спал на раскладушке под столом, где туалет был разрушен еще во вторую пятилетку и потому все ходили во двор, в деревянный сарайчик, в котором зимой над очком намерзала такая пирамидка нечистот, что уже и не пристроишься».

«В 3 классе учительница сказала мне: “Ты списал задачку на перемене! У тебя отец враг народа, и ты такой же”».

«О годах Великой Отечественной: мне было 8 лет, когда она началась, и 12 – когда она закончилась. Это была жизнь на грани голода, выживания. Например, ужасный 1942 год, когда мы чуть не погибли в Казани, и дети, и взрослые. Про то ощущение обреченности, когда казалось, что нас все бросили. “Нас” – я имею в виду Советский Союз. Никому мы тогда были не нужны, нас забыли. Мне казалось: мы погибали».

То есть сначала его «бросили» родители, а потом, вслед за ними, и вовсе все взрослые, – и настало космическое одиночество...

«У меня это перекликается с моментами тяжелой дифтерии, которой я тогда переболел. Страшное чувство, когда задышаешься, накатывает дикий ужас. Вот это чувство, что всё, ты уходишь навсегда, ты обречен. А потом проснулся, лежу в палате, в инфекционной клинике, а за окном белый, пуши-

стый снег. И вдруг этот снег как вспорхнет, сверкая красными грудками. Никак не мог тогда вспомнить, как птичек звали: “Сногери, сонгери...”

А потом это у меня перерастает в тему “ленд-лиза”. Он был очень важен для нас тогда. Как бы начала с ним вливаться новая струя жизни через северные конвои. Они везли технику, оружие. Но, что важно, и большое количество продовольствия, которое в конечном итоге спасло военное поколение детей».

По ленд-лизу Васе выдали странные какие-то штаны из «чертовой кожи». Он тогда не знал, что это – джинсы... И стеснялся их носить! Мечтая о модных в то время габардиновых брюках...

Отец, значит, «расстрелян», мать сидит.

«Признаюсь, я не был посвящен во все, что произошло с моими родителями, со страной. Думал, у нас идет все гармонично. Родня убеждала меня, что родители в командировке на Севере. Я верил». Но во дворе «мальчишки приبلатненные» подходили и говорили: “О, твоя матуха припухает!” Это вызывало у них симпатию».

Вася, наверно, не понимал, о чем речь, – раз верил в командировку...

Магадан

«Мама вышла из лагеря в 1947 году и осталась в Магадане,

нашла там квартиру.

На “материк”, то есть в центральную часть России, она не поехала, потому что на Колыме еще отбывал срок ее новый муж. Она добилась через сердобольных чекистских жен разрешения на мой приезд».

«Я жаждал этого путешествия на край света. Мама все организовала. Ее знакомая, “вольняшка”-кассирша, возвращалась из отпуска и взялась доставить мальчика. Мы летели на самолете. Открывалось грандиозное зрелище. Полет продолжался семь дней с посадками, с ночевками. Потрясающее впечатление, пожалуй, сильнее, чем мое открытие Америки. (Какое многозначительное замечание! – *И. С.*) Летим над Охотским морем – подо мной живая география колышется! Видел волны, корабли, тайгу. Магаданский крошечный аэродром. Ни вокзала, ни транспорта. Нас подвез зять “вольняшки” на каком-то “козле”... Маму я сразу узнал». (Это другая версия Аксёнова, что все-таки – узнал мать. Так все ж больше по-людски, не так страшно. – *И. С.*) Она была «очень молодая. У нее так сверкали глаза – очень любила жизнь. Это меня потрясло. Она при чужих людях разрыдалась. Я подошел к ней, положил руку ей на плечо и на ухо шепнул: “Не плачь при них”. Мама была потрясена этой фразой».

Он ее узнал, а она его – нет... Немудрено, после одиннадцати лет разлуки. Это очень грустная, это леденящая кровь история. В своей книге Евгения Гинзбург написала:

Вот он! В углу широченного дивана неловко

приткнулся худой подросток в потертой курточке. Он встал. Показался мне довольно высоким, плечистым. Он ничем не напоминал того четырехлетнего белобрысенького толстяка, что бегал двенадцать лет назад по большой казанской квартире. Тот и цветом волос, и голубизной глаз был похож на деревенских мальчишек рязанской аксеновской породы. Этот был шатеном, глаза посерели и издали казались карими, как у Алеши. (Это старший брат Василия, умер в детстве. – И. С.) – Алешенька! – шепотом, почти непроизвольно, вымолвила я. И вдруг услышала глубокий, глуховатый голос: – Нет, мамочка. Я не Алеша. Я Вася.

Еще она писала про будущего стилигу так:

...И телогрейка на его плечах такая же, какие носят у нас в Эльгене. При мне на материке никто не носил таких телогреек. Наверное, появились в войну. Но все-таки меня ужасно коробит, что на Васе такое, почти лагерное одеяние... Уже маячит передо мной новая сверхзадача – пальто для Васи.

У матери был новый муж – немец «Антон Яковлевич Вальтер, по профессии доктор, еще не был освобожден. Днем ходил без конвоя – надо было пациентов навещать, в основном жен начальников. Ночевать всякий раз отправлялся в лагерь, на окраину города. Он мне очень понравился. Был Антон Яковлевич воинствующим оптимистом. И что поразительно, у него были целы все зубы после стольких лет тюремной баланды. Он, оказывается, собирал стланик, делал

травяные отвары, жевал хвою».

Спал он, кстати, на обеденном столе.

Мать была поражена, что Василий «приехал не каким-то лохом, а довольно образованным подростком (она-то знала, что его отправили в спецприют, и ждала увидеть Маугли, который одичал, по замыслу чекистов. – *И. С.*). Мама была поражена, что я знаю наизусть многие футуристические стихи Маяковского». Он даже помнил что-то из Хармса, которого она ему читала в детстве: «Жили в квартире сорок четыре, сорок четыре веселых чижа». «Она же, в свою очередь, читала мне вслух ее любимого Пастернака».

«Мы жили на самой окраине города, и мимо нас таскались вот эти конвои, я смотрел на них и понимал, что я не советский человек. Совершенно категорично: не советский. Два года жил на Колыме и пропитался всей той мерзостью».

Потом, в 49-м, как мы помним, пошла вторая волна массовых посадок. Евгению Гинзбург снова забрали. «Этот арест матери произошел при мне». Тоже, в общем, мощный стресс... Впрочем, в тот раз ее продержали меньше месяца и выпустили, оставив на вечное (что кому известно о вечности?) поселение на Колыме.

Как ни странно, по мнению Аксёнова, он не раз про это говорил – «главный поворотный момент не уезд в Америку, а приезд к матери в Магадан. Там он стал ходить в школу. Это был самый свободный город Советского Союза, я оказался в интеллектуальной среде. Там нечего было терять, отправят

опять в зону – да и хрен с ним».

Вот интересно, как жили ссыльные политзаключенные? Скучали и боялись, прятались по углам? Конечно же, а как иначе, – скажет наш современник, доживший до вертикали власти. Ан нет!

«Еще в молодости у мамы появилась склонность создавать вокруг себя своего рода “салон” мыслящих людей. Первый такой салон, в который входил высланный в Казань троцкист профессор Эльвов, обернулся для мамы трагедией, стоил ей свободы. Читатель “Крутого маршрута” найдет такой гинзбургский салон в лагерном бараке. В послелагерной ссылке, в Магадане, возник еще один салон».

Будущий писатель в Магадане активно работал над русской словесностью, подходя к ней с разных концов. Создавал задел на будущее.

«Мама открыла мне, школьнику, один из главных советских секретов – существование Серебряного века. Кроме того, она познакомила меня с кумиром своей молодости Борисом Пастернаком. К окончанию школы я знал наизусть множество его стихов, которых нигде тогда нельзя было достать в печатном виде».

Он и сам там начал писать стихи. Потом стал одним из первых читателей «Крутого маршрута».

«Как только мама завершила работу и дала мне рукопись. До этого она рассказывала, что есть в книге, в магаданские вечера, под свист норд-оста. Не суммировала ничего, не под-

водила итогов, не говорила, кто виноват. Чтобы я не попал в большую переделку. (Хотела его спасти, скрыв самое главное знание о советской жизни. — И. С.) Но Магадан был на самой грани ГУЛАГа. Мимо нас каждый день шли этапы из порта, иногда в кандалах... Такие картины для нас, школьников, были обычными, мы их даже не замечали. Помню, как мы идем с одним мальчиком по улице, и он рассказывает: «Слушал вчера “Голос Америки” — они утверждали, что у нас нет свободы, не понимаю, что они имели в виду».

Абсурд, — но какой! Наш, родной!

Кроме стихов и прозы он продолжил изучение русского устного, который там был в ходу как нигде.

«Феня не была мне чужда. У нас в Казани во дворах она уже поселилась. В Магадане я начал собирать и старую, и новую феню. Завел записную книжечку, где записывал то, что меня особенно поразило. Солнце там называли “балдоха”. Врач — “лепила”. Но почему-то “лепенец” — это костюм. Один глагол особенно по звуку был хорош “чимчиковать”. Вместо “прибежал» могли сказать: “примчиковал на цырлах” — словом, прибежал подхалимски. Или еще “итээровский костер”. Подойдут и восхитятся чем-нибудь: “Ну у вас тут прямо итээровский костер!”»

«Западная жизнь очень интриговала. Читал Джека Лондона... Англо-американская романтика присутствовала. В Магадане странно чувствовалась близость Америки. Были ребята, которые плавали на пароходах ленд-лиза в Штаты. Мы

там стали слушать джаз. (И в Казани потом слушали, там в ссылке оказался Лундстрем.) Мальчишки стали одеваться под американцев и играть джаз. Одна девица по кличке Эскимо сказала мне на танцах, что обожает США».

В Магадане он закончил школу. А дальше что? Каким жизненным путем идти с Колымы, куда?

«Я сам не знал, куда поступать, хотелось в архитектурный, но мне сказали, что там очень строгий отбор и у меня мало шансов его пройти. Новый муж мамы, Антон Яковлевич Вальтер, сказал, что “в лагерях спасаются врачи”. Тогда ведь никто даже подумать не мог, что Сталина не будет. Когда это случилось, это было похоже на космическую катастрофу».

Это все было удивительно и безумно... Но ведь было же.

Потом, через много лет, Василий Павлович успел вывезти мать с Колымы в Москву и даже осуществил ее мечту, которая казалась, конечно, нереальной, – свозил ее в Париж! О котором она мечтала. Это случилось при советской власти еще, и там был «детский восторг смертельно больной женщины, которая в последние месяцы жизни попала в мир высокого искусства, живший только в ее воображении. Окна гостиницы выходили на кладбище Монпарнас, где похоронены Бодлер и Сартр».

После колымских-то бараков.

Он успел это сделать! Это, конечно, было счастье. И непонятно, для кого большее – для нее или для него.

Отец

«Долгие годы мы думали, что его [отца] просто нет, потом вдруг он обнаружился. В 37-м объявили, что приговор приведен в исполнение. Но на самом деле он отбывал срок в Печорлаге». «Те, кто был там в шахтах, на тяжелых работах, все погибли; уцелели лишь те, кто сумел зацепиться». Павлу Аксёнову удалось откосить от общих работ и устроиться бухгалтером – и он выжил.

«Приехал я из Ленинграда на студенческие каникулы в Казань. Мне было двадцать два года. Вдруг однажды утром раздался стук в дверь. Моя тетка, у которой я раньше воспитывался, пошла открывать – и жутко вскрикнула: “Паша!” И завопила, и запричитала... Это был отец. Он вошел и внес огромный мешок, и в этом мешке было все, что нужно человеку в тайге, – он, уже в ссылке, жил как Робинзон Крузо, – вплоть до дров. И он совсем забыл, что можно давать телеграммы, предупреждать. За эти годы он отвык от всего. Даже у вокзала на трамвай не сел, тащился с мешком через город.

Я уже варился в другой жизни. Был стилиягой. Но все-таки мы очень быстро подружились. Отец остался жить в Казани. Ему дали квартиру, орден Ленина в придачу, определили большую партийную пенсию. Жил теперь он благополучно. У меня он появлялся только тогда, когда происходило что-то резкое. Вот попали мы под атаку Хрущева, и вдруг объявил-

ся отец и стал меня уговаривать: “Давай-ка поедem на Родину”. Я-то родился в Казани, а он в Покровском, вблизи Ряжска. Приехали мы, и первое, что бросилось в глаза, – разрушенные дворянские усадьбы. Потом мне старики рассказывали разные истории из помещичьей жизни: “Вот здесь они лебедей развели и пускали плавать. На речке Мосте на лодке плавали под шелковыми зонтиками”».

«У мамы (к тому времени, как известно) был муж, доктор Вальтер, благороднейший человек. Отец очень хотел, чтобы они воссоединились, но мать осталась с Вальтером. Они апеллировали ко мне, а что я мог сказать им тогда?»

«Папа после 18 лет тюрем, лагерей и ссылки жил до 92». Они очень спорили с Василием в последние годы, отец был непреклонен в убеждениях: «Сталин – подлец, Брежнев – идиот, но Ленина – не трожь!»

Оттепель

В общем, по совету колымских эков, чтоб облегчить будущую жизнь в лагере, от которого куда ж деться, так все думали, – он пошел в медицинский.

Но в анкете про репрессированных родителей не написал. За что его и выгнали из Казанского меда. Он поехал жаловаться в Москву, в министерство. Там про казанских сказали, что те «предпринимают немного запоздалые действия». И восстановили студента Аксёнова. Но он в Казань воз-

вращаться не захотел и попросился в Питерский институт. Просьбу выполнили, и в этом таки была логика.

А Питер – это вам не Казань, там была не бедная провинциальная, а настоящая роскошная оттепель.

«Мы жили замечательно. Мою дальнейшую судьбу определили именно те четыре фантастических года. (Потом с таким же предвкушением счастья я еще просыпался в 1991 году – после того как провалился путч ГКЧП и коммунизм отступил.) Помню, что я каждый день просыпался с предчувствием праздника. Стали открываться выставки из запасников Эрмитажа – Матисс, Пикассо, Мане, которых мы прежде никогда не видели. Потом вдруг откуда-то стали вылезать джазмены, мы открыли для себя новую музыку».

«Ленинград, литературные молодежные клубы, какие-то настроения в воздухе. Я начал ходить в литстудию, хотя, в общем-то, надо было медициной заниматься. У нас была там такая группа известных сейчас людей – Рейн, Найман, Бобышев. Заправлял Илья Авербах, студент нашего института, будущий кинорежиссер. Бродского не помню, он, видимо, мал еще был. С ним я познакомился году в 60-м. И вдруг сразу все выплыло на поверхность: крамольные разговоры, обмен изданиями Серебряного века. Помню Александра Городницкого студентом Горного института в мундире с погонами, такие у них были. Собирались, и он уже что-то пел под гитару. Вот такая питерская оттепель: танцы, рок-н-ролл, Невский проспект, где комсомолцы ловят стилиг...»

И было «ощущение Европы. Помню, осенью 1955 года я шел по набережной Невы. Была такая высокая вода, началось небольшое наводнение. И вдруг я вижу, что на Неве стоит немыслимо огромный авианосец под британским флагом. У нас таких кораблей даже не было. (Будут! Сейчас Медведев настроит, он обещал на это дело денег не жалеть. – И. С.) И рядом четыре эсминца. Британская эскадра пришла с визитом доброй воли. После сталинизма это казалось чем-то невероятным. Вижу, гребут английские моряки к набережной. Выходят гулять, девки на берегу визжат. И весь город вдруг покрылся английскими моряками. Сукно, загорелые британские морды, лощеные офицеры у гостиницы “Астория”. И вот в этот момент я понял, что времена изменились кардинально. Тогда все, видно, это поняли».

«Страшно интересовало все, что происходило на Западе, за “железным занавесом”. В 1957 году приехал Ив Монтан – вот это действительно было вехой – и привез к нам Париж. Вся наша компания перестроилась под “монтановский” стиль. Шили такие же пальто... Хемингуэй стал тоже рисоваться мне в контексте Парижа, и его парижские годы были мне гораздо интересней американских. Мне было многое близко в нем. Не только мужественность, но и вообще отношение к жизни. Обреченность какая-то, достоинство и, конечно, отношение к женщине. Авантюризм, пьянство. Именно Хемингуэй в большой степени ответственен за пьянство моего поколения!»

С пьянством понятно; а еще должны быть победы над девицами, иначе какой же Хемингуэй с Парижем? Но с амурами – тогда, в студенчестве – дело было плохо.

«Все наше молодое поколение было довольно фригидным. Мы даже не представляли себе, что это такое. А когда дошло, то негде было уединиться. В подворотнях, в подъездах стояли часами с девочками. Случалось – целовались. Потом по своему адресу услышишь от приятеля: “Ну ты обжал?” Или он хвастается: “Ну я ее вчера обжа-а-ал”. Большинство девочек-студенток были совершенно зажаты (даром что обжаты – *И. С.*). Встречались, конечно, активные – “барухи”. Под стать им мальчики – “ходоки”. Я не был ходоком по девочкам».

Потерянные годы... Только вы за него не переживайте, он после все наверстал. Но это было как-то не очень по-геройски, и он все-таки оправдывался: был не ходоком, но стилигой (как будто одно другому мешало). Кстати – как быть стилигой бедному студенту?

«Денег на стильный прикид не было. Помогал самоштрок. Я сшил себе длинное пальто с обвислыми плечами и заматывался потрясающим шарфом, трехцветным, как русский флаг. ...Началась фарцовка. Ребята из стран народной демократии активно продавали свои вещи. Помню, купил я ботинки у будапештского студента, как раз “с разговорами” (с толстой рифленой подошвой). Это было счастье». Вещизм, единство формы и содержания. Настало время тря-

пок! А ленд-лизовские джинсы оказались преждевременными и потому не смогли оказать оздоровительного антисоветского воздействия.

Оттепель, значит, оттепелью, но судовым врачом Аксёнов так и не стал, — кто б ему с такой анкетой визу открыл. Родителей реабилитировали — ну и что? Он, конечно, немало думал про чекистов, как иначе, но уверяет: «У меня не было вражды никакой, не было желания посчитаться, но я их презирал безумно. И отвращение, но не ненависть. Расстреливать я бы их не стал».

Благонадежные однокурсники будущего писателя стали работать согласно записи в дипломе про специальность — «судовой врач»! Они поплыли в дальние страны и обратно, этакие постсталинские возвращенцы. Аксёнову вместо такой красоты досталось как бы подглядывание в замочную скважину — он немного поработал в порту.

«Мы выходили на прием иностранных кораблей. Подплыли на буксире, нам сбрасывали веревочный трап, мы взбирались на голландские и прочие корабли проводить карантинную инспекцию. [Только] вместо этого занудства мы сидели с капитанами и пили датское пиво, курили сигареты».

За это, кстати, легко можно было получить срок; но как-то обошлось.

А потом поехал он в Карелию, в глушь, в маленькую поселковую больницу, и стал там сочинять повесть «Коллеги». (Он потом понял, что если б не тоска глуши, то ничего б он

не написал, никогда, без той его «болдинской осени».)

Несмолкаемая тема Запада меж тем развивалась. Аксёнов женился на студентке иняза Кире, которая потрясаяще пела американские (!) песни. И вот как только Кира вышла замуж за тихого провинциального врача и забрала его к себе в Москву – с ним случилась ужасная, с точки зрения матери семейства, метаморфоза: он внезапно превратился в модного писателя, представителя богемы, которого одолевали поклонницы. Ну а что вы хотите, вышла повесть «Коллеги». Но было поздно! Бедная Кира, она такого натерпелась... К тому же – после родов, у них появился сын Алексей – «она так располнела... Я к этому времени стал, ну, известным писателем. Шастал повсюду с нашими тогдашними знаменитостями... разные приключались приключения... она стала сцены закатывать...» – так бывший муж вспоминал про свою первую жену.

««Коллеги» – это такой примитив, о котором я даже говорить не могу. (Согласен с классиком. – *И. С.*) Вокруг был сплошной соцреализм. Я писал роман для публикации, и это сидело в голове, постоянно то там, то здесь срабатывали предохранители. В частности, поначалу главным героем должен был стать не положительный Саша Зеленин, а отрицательный персонаж Максимов, диссидент, человек протеста. В конце концов в книжке остались лишь намеки на “протестантство”. Но даже такое конъюнктурное сочинение вызвало гнев у кочетовской критики», – писал он позже. Но тогда!

Все было иначе. Он блистал!

Про Аксёнова многие думают, что он первый начал писать советскую молодежную прозу. Но куда раньше эту жилу принялись разрабатывать Анатолий Кузнецов («Продолжение легенды») и Анатолий Гладилин («Хроника времен Виктора Подгурского»). Обоим досталась эмиграция, причем куда более тяжкая, бедная, горькая, чем Аксёнову. Однако Аксёнов их обоих затмил сразу. Отчасти из-за легкого диссидентства: «Комсомол накачивал романтику: она живет на Востоке, туда надо ехать, там стройка, там ты найдешь себя. И вдруг вместо этого четверо ребят поворачивают на Запад», – в Таллин пока, для разминки (это Аксёнов так про свой «Звездный билет»). И Битов тонко подметил про описанные Аксёновым «первые звоночки свободы, которые прозвучали в оттепель, какие-то эстонские кафе – все это заманивало молодежь. Этот образ несуществующего (Америка была еще не открыта ими. – И. С.) внешнего мира – они вносили его в сознание аудитории».

Ахматова хвалила книжку с другой стороны, за другое – но тоже громко, сильно: «Я не понимаю половины слов – какой он писатель замечательный, у него свой язык!»

В наши дни Татьяна Толстая заметила, может, с болью, горько, но честно: «Теперешние лучшие писатели не описали наше время! А те – описали». И точно, точно так...

И что еще немаловажно, пиар был сильный у молодого автора. «Звездный билет», как только он вышел, начали гро-

мить и хаять («Это плесень, с ней надо бороться»), повесть стала дефицитом, и Виктор Ерофеев просто украл номер «Юности» с «Билетом» в школьной библиотеке, сам признался. «В то лето в Ялте считалось неприличным прийти без “Билета” на пляж, и он весь был покрыт оранжевыми обложками молодежного журнала. (Вот это слава! Куда Пелевину! – И. С.) <...> Он [Аксёнов] был тогда всё – и танцы на льду, и rock star...»

Сам Катаев, который в те же времена прогремел во второй раз, как бы в следующей жизни, уже не «Парусом одиноким», но «Травой забвения», разговаривал с ним как с равным, всерьез обсуждал, как надо писать. Классик говорил юному Василию Павловичу, которого он первый опубликовал, открыл, можно сказать, напечатав в своей «Юности» в 1959 году: «Старик, вы знаете, у вас все так здорово идет, но вы напрасно держитесь за сюжет, не надо развивать сюжет». Тот слушал внимательно, даже признавался: «Я подражал Катаеву».

Кто-то из поклонников Аксёнова спросил:

– А может, это Катаев оглядывался на тебя? Сперва начал ты, тогда и он опомнился и стал по-новому писать!

Аксёнов ответил на это без ложной скромности:

– Может быть. Вполне.

Каков, а?

Его ирония по отношению к другим и к себе не знала границ. При всем этом общаться с ним не всегда было

легко. В его манере держаться было что-то княжеское. Он ни на минуту не сомневался: то, что он говорит, — это, безусловно, интересно. Если ты бывал остроумен, он поддерживал тебя своим характерным коротким смехом, давая тебе понять: это — хорошо. То есть ты проходил у него под номером вторым. Не знаю, есть ли люди, с которыми он общается на равных. Он был центровым. Если сидел за столом, то стоило ему подняться — компания распадалась, пропадал интерес общаться дальше. (Это все тонко подметил Аркадий Арканов.)

А Андрей Вознесенский и вовсе подписал книгу Аксёнову так: «Вася, все они вышли из рукава гоголевской “Шинели”, мы же с тобой родились из гоголевского “Носа”: я из правой ноздри, ты — из левой».

Какие комплименты! Давно мы таких не слышали. Ни про кого. Измельчало все вокруг. Никакого пафоса, кругом только деньги и постмодернизм...

«Мало кто из ныне здравствующих сочинителей столь рано овладел сознанием поколения. Его стиль общения, его сленг, пришедший из “Звездного билета”, “Апельсинов из Марокко”, “Затоваренной бочкотары” и др., стал в 60–70-е повседневностью в молодежных компаниях и любовной переписке», — написал один из критиков.

Ахмадулина вспоминает: «Мы многое понимали, но Вася все чувствовал острее других. Родившийся в 32-м, на долгие годы лишенный родителей, он с детства как бы впитал в себя

опыт зоны, лесоповала, Магадана. Он словно старше других был, с какой-то неизгладимой печатью на лбу и на душе».

Таки, наверно, те два года (1948–1950) в Магадане были его самыми главными университетами. Уроки старых колымских зэков, полученные в нежном возрасте, может, именно и сделали его главным писателем поколения. Его там научили, что можно быть свободным везде и всегда, не дожидаясь ни смерти Сталина, ни XX съезда, ни Горбачева, ни разрешения жечь партбилеты. Драгоценный подарок... Аксёнов тогда сделал такой рывок, что после никто уж не мог за ним угнаться. Да и вся западная, американская линия, тема внешнего мира была там и тогда заложена – до Штатов, сказано, было рукой подать от Магадана. На Колыме Америка казалась куда более настоящей, реальной и не такой безнадежно бесплотной, как в Москве...

Но, пожалуй, точней и глубже сказал о причинах славы своего друга и коллеги Василия Павловича Александр Кабаков, если уж серьезно:

В легально издаваемых сочинениях тогда жили исключительно рабочие, мыслившие масштабами министров, и крестьяне, обуреваемые шекспировскими страстями, исследовался внутренний мир секретарей райкомов, и внедрение передовой технологии в доменное производство описывалось психологической прозой. Аксёнов же выпустил в литературную жизнь студентов и только что получивших аттестат школяров, дальневосточных бичей (популярное развертывание:

«бывший интеллигентный человек») и неудачливых художников, робких гроссмейстеров и “интеллигентов вообще”. Позже, в семидесятых, примерно той же публике дал права литературного гражданства другой мой учитель, Юрий Валентинович Трифонов, царство небесное, вечный покой. Но в трифоновской прозе мы, образованные горожане, обнаружили себя в натуральном, не всегда приглядном виде, хмурыми и озабоченными, готовыми к компромиссу и ненавидящими себя за это... А у Аксёнова мы были веселыми, загульными романтиками, охотно корчившими рожи перед кривым зеркалом иронии, грустившими слегка и недолго – словом, жаль, что вас не было с нами.

Но тексты текстами, а только их одних никак недостаточно для масштабной, яркой, привлекательной и зовущей славы. Еще же нужен правильный имидж, везение, богатство, красота, размах. И крепкая привычка к ним. Как-то Аксёнов спросил Аркадия Арканова (который это позже озвучил, в смысле – вот, значит, как надо жить):

– Почему у тебя нет машины? – это Аксёнов, конечно, спрашивает.

– Денег нет.

– В нашей стране бедным быть стыдно, надо жить хорошо!

«Вася печатался широко, шел круто, поэтому, с материальной точки зрения, мне было трудно за ним угнаться», – вздыхает Аркадий Михайлович.

Ну как же без машины? Особенно если она предмет роскоши, объект зависти, знак принадлежности к счастливым! Сам же Аксёнов с горбатого «Запорожца», положенного молодому успешному писателю тех дней, быстро пересел на престижные «жигули», а дальше уж и вовсе на крутую «Волгу». Он мотался на своих авто покуривая американские сигареты из «Березки».

Он вообще был американизированный парень. Любил Америку, любил виски, если попадалось, зачитывался американскими писателями. Не могу сказать, что он был эпигоном, но определенное влияние, например, Сэлинджера и Хемингуэя в его ранних вещах я вижу. Приезжая “оттуда”, бравировал тем, что там видел, и как мог поддерживал свое “американское” реноме – насколько это было возможно в наших условиях, – это снова Арканов.

А вот еще воспоминание современника: «Витя Ерофеев, тогда почти мальчишка, ходил за Васей с открытым ртом: Вася с сумкой через плечо, и Витя – с сумкой, Вася весь в “джинсе”, и Витя туда же...»

Евгению Попову, бедному парню из провинции, негде было взять джинсы, и он мечтал хоть поносить «джинсовую с белым мехом куртку Аксёнова».

Не из шинели, не из носа – а именно из аксёновской джинсовой куртки, может именно этой, и вышла новая русская литература – такую версию дал позже Попов.

Из одних мемуаров: «Аксёнов – джентльмен. Он одевается модно, изысканно, ощущается его любовь к фирменным вещам. Рубашечку с маленьким отложным воротничком он подберет в тон шарфу, свитер, серый, голубой, чаще одноцветный, разнообразные куртки на пуговицах, молниях, спортивного покроя сидят на нем с легкой небрежностью. Как и герои его повестей, он пропустит даму вперед, он успеет поднести зажигалку, когда она закуривает, ринется в драку, если столкнется с хамством». Из других мемуаров же: «Твид, шпионский вельвет, правильно – телячья кожа. Помнится – хаки. Очки – “Полароид”. Усы – “Колонель”. Зажигалка – “Ронсон”. Манеры – Набокова. Цитаты – “Ожог”. Правильно – писатель. Сразу – видно. “Ле Карре, Джон?!” – подумал я. “Аксёнов, – шепнули мне из кустов, – Василий Павлович”».

Туда же, в тему – джинсы (я об этом тут так много, потому что это было очень важно тогда). Ахмадулина вспоминала первую встречу с Аксёновым, с которым поэтесса крепко дружила уже много лет: «Я помню, когда я впервые увидела Василия Павловича, что-то переменялось в погоде и в природе. Весь вид его возбуждал вдохновение. Он шел, такой джинсовый и такой джазовый»». И вообще: «Он был денди, и московские дамы всегда обращали на это внимание». О, московские дамы!

Еще мощней про тряпки, не смейтесь, это не смешно, важно не только содержание, но и форма, ну или не форма, а

штатское, не зря комсомол боролся с «вещизмом», это уж он сам:

«Я ездил и что-то покупал... Я ввел в Москве твидовые пиджаки. В Италии, где получил гонорар за “Звездный билет”, купил пиджак твидовый и приехал в нем Москву. Подошел Табаков (властитель дум, кстати говоря!) и говорит: “Васята, ты знаешь, как называется твой пиджак?” – “Ну и как?” – “Это твид”».

И в Москве стали носить твид.

Как все было прочувствовано и прочувствованно! А сейчас – ни формы, ни содержания, так, пиар один... Вот и вся литература, была, да вышла.

Но и манеры, манеры! Как безупречно он себя вел!

Был такой замечательный случай в ЦДЛ. Писатель Губарев, автор нехорошей советской книжки про Павлика Морозова, как-то воскликнул:

– Все слышали? Аксёнов сказал, что надо вешать коммунистов на фонарях!

Аксёнов придавил Губарева к стенке и сказал:

– Еще раз пикнешь, прибыю, падла!

Вот так ответил колымчанин.

Это все не случайно было в ЦДЛ, – там проходила важная часть жизни и пьянства.

«Утром поработаю, а потом совесть чиста и можно чем угодно заниматься», – очень часто это и означало ехать в ЦДЛ и там вести «общественную» жизнь. (Всякие забега-

ловки, ночные поездки на такси в ночной ресторан во Внуково, загулы в мастерских у знакомых художников – не в счет, это само собой.)

О ЦДЛ он как-то сказал: «Это такое замечательное место, что сюда можно прийти с деньгами и с бабой, а уйти без денег и без бабы. А можно прийти без денег и без бабы, а уйти и с деньгами, и с бабой» (со слов Арканова).

Однажды Евгений Попов спросил, с похмелья:

– Василий Павлович, что такое запой?

Аксёнов обстоятельно, со знанием дела, пояснил, и это очень поучительно:

– Утром, значит, еще не почистил зубы, натягиваешь джинсы, идешь на улицу, находишь открытый кабак – там выпиваешь стакан коньяку. Дома приходишь в себя, жаришь яичницу, работаешь за письменным столом. Потом обед с вином. Вечером ЦДЛ: там уже пьешь до упора. И так каждый день.

Хотя, конечно, это детский какой-то игрушечный запой, тут нет ни мерзости, ни скотства, ни отвращения к жизни, – ну и ладно, и слава богу. Игра в запой. Часть имиджа. Русский писатель, что вы хотели!

Роман с Кармен

У него были более или менее продолжительные романы с очень интересными женщинами. Не с какими-нибудь де-

вочками из подворотни, а с самыми эффектными и известными женщинами Москвы и Ленинграда. Это особенно и не скрывалось, об этом знали все, включая его жену Киру. Он с удовольствием появлялся со своими подругами в обществе, было видно, что для него это важно. Его брак с Майей Кармен – тоже следствие такого романа. Она была очень известной, исключительно красивой и стильной женщиной (Аркадий Арканов).

Майя очень важна в жизни Аксёнова, он много об этом говорил: «В конце 60-х я пережил тяжелый личный, хотя отчасти и связанный с общим поколенческим похмельем (Чехословакия, брежневизм, тоталитаризм), кризис. Мне казалось, что я проскочил мимо чего-то, что могло осветить мою жизнь и мое письмо. И вот тогда, в 1970-м, в Ялте я встретил Майю. Мы испытали очень сильную романтическую любовь. Это была настоящая любовь, очень, конечно, эротическая; а потом это переросло в духовную близость».

Как в водевиле: сперва он познакомился с ее мужем.

«Я один раз ехал с ним в “Красной стреле” в Питер. Я был под банкой. А я уже слышал о его жене. И я ему говорю: правда ли, что у вас очень хорошенькая жена? Он говорит: мне нравится. Так он сказал, и может, где-то отложилось».

Лирическое отступление.

Кармену, как тогда говорили, везло с женщинами, но не везло с женами. Одну у него забрал некий дипломат, имя которого затерялось в глубине десятилетий, другую – лично

товарищ Василий Сталин. Наверно, это было почетно? Подробности, если верить современникам, таковы: говорили, что Кармен хотел застрелить Василия. Но одумался и написал письмо его отцу, Иосифу Виссарионовичу, которое передал бывший тесть. Сталин поручил разобраться с сыном генеральному прокурору. Когда жалоба подтвердилась, на докладной записке наложил резолюцию: «1. Эту дуру вернуть Кармену. 2. Полковника В. Сталина посадить на 15 суток строгого ареста».

Но вернемся к Аксёнову: поначалу ничто не предвещало серьезных отношений с Майей.

«Любовные увлечения. Это всегда по Домам творчества проходило. И вот как-то приезжаем мы в Дом творчества в Ялте. Там Поженян, мой друг. Мы с ним сидим, и он потирает ручки: о, жена Кармена тут... Он думал, что у него будет [с ней] роман», – так про это рассказывал Аксёнов. Но с Майей Ахмадулина познакомила именно его, а не кого-то другого, и даже – подтолкнула их друг к другу.

– Завтра уже моя жена уедет, – шепнул Аксёнов своей новой подруге.

Кира уехала в Москву, ну и пошло-поехало.

«О наших изменах знали все, – вспоминал Аксёнов. – Роман не пробовал вернуть Майю. Но его товарищ писатель Юлиан Семенов разик меня чуть не побил. Кричал: “Отдай Роме Майку”».

– Ты отбил жену у человека! У которого инфаркт! – по-

прекали писателя.

Но он как порядочный человек жену у Кармена не отби-вал, как можно! Она честно жила в браке с Романом Лаза-ревичем до самой его смерти в 1978 году. Только после это-го Аксёнов стал вести совместное хозяйство с Майей в той самой сталинской высотке на Яузе, где ему после развала СССР дали квартиру.

Антисова

Хороша была знаменитая встреча наших слабоватых на голову (чистые дебилы, не понимали, что выставляют себя на посмешище) партийных начальников с так называемой твор-ческой интеллигенцией.

«Хрущев стучал кулаком по столу и кричал Аксёнову: “Вы мстите нам за своего отца!”» А тот, по его словам, отвечал Хрущеву – дескать, почему я должен мстить, мой отец вер-нулся из лагеря живым. А по словам Эрика (так друзья на-зывают Эрнста Неизвестного), Вася стоял на трибуне совер-шенно растерянный и повторял: «Кто мстит? Кто мстит?»

С этой встречи Аксёнов едет в ЦДЛ, друзья вливают в него фужер коньяку, он оживает и говорит: «Только [Гла-дилин], полный разгром. Теперь всё закроют. Всех переду-шат...»

Но это было минутное настроение. На самом деле впе-реді было пять лет относительно спокойной и немного даже

безмятежной жизни.

«До 1968 года (когда советские танки вошли в Чехословакию), у нас существовало романтическое ощущение необратимости движения к демократии, свободе. В 68-м стало ясно, что этому конец. Именно тогда возникла идея массовой эмиграции. Это было желание целого поколения, не мое лично. Мне до того такое даже в голову не приходило. В 68-м мы поняли, что здесь ничего уже нельзя сделать, надо уносить ноги. Пятисоттысячная армия в Праге раздавила всех там и всех нас здесь, наши утопические надежды. Наступило колоссальное, страшное похмелье. Это связано и с непомерным употреблением алкоголя этим поколением... Надо ли сейчас уносить ноги из России? Ни в коем случае! Сейчас совсем другое дело. Ситуация не безнадежна...»

«Я очень долго не хотел касаться лагерной темы. Такая была эйфория тогда, в начале 60-х. Как деревенский праздник – все казалось радостным карнавалом. И я там писал – ну “Коллеги”, ну “Звездный билет”, но все время чувствовал, что у меня есть, как говорится, “нетленка” за душой, что мне пора “нетленкой” заниматься, а я все занимаюсь чепухой. Я совершенно о другом писал, и это продолжалось довольно долгое время. Может быть, потому, что я какую-то неловкость испытывал. В контексте всей среды вернуться к мраку, вернуться к безнадеге тех лет... И только в шестьдесят восьмом году, когда произошла оккупация Чехословакии, – вот тогда рассеялись последние иллюзии и я понял, что нуж-

но написать что-то в стол, что-то действительно серьезное. В шестьдесят девятом году я начал писать “Ожог”. Это было преодолением действительно странной инерции. Будучи уже профессиональным литератором, членом Союза писателей, озабоченным заработком конечно, писанием халтурных и полухалтурных сценариев, даже переписыванием чьих-то сценариев, я, тем не менее, почти каждый день на чердаке устраивал себе сеанс “духовного душа”. Это было заведомо в стол, это был сильный момент преодоления страха. Я понимал, что этот роман изменит всю мою жизнь, но я этого не боялся. Так оно и произошло. Ведь основной причиной, по которой меня выдворили отсюда, был не “Метрополь”, а “Ожог”».

Пара слов про альманах «Метрополь», который был придуман Аксёновым и Виктором Ерофеевым, о чем много говорено. Смысл его замечательно обрисовал печально известный Ф. Кузнецов, какой-то в те годы крупный писательский бюрократ:

«...Мне кажется, в альманахе четыре ведущих направления: 1) приклатненность (Высоцкий), 2) изгильдйство над народом, 3) сдвинутое сознание (Горенштейн, Ахмадулина), 4) секс».

А что, неплохо!

Далее он говорит Аксёнову на собрании, где наезжали на авторов альманаха: «А вы бы принесли восемь (из двенадцати готовых машинописных) экземпляров в Союз».

В. Аксёнов: «Не принесем, потому что пропадут».

Протокол того собрания весь забавный, дам вам тут самый смешной кусок.

Ф. Кузнецов. ...Ситуация такая. Или мы сможем повернуть это дело на литературные рельсы, или это будет политическое дело. Завтра – роковой день!..

В. Аксёнов. О боже! Роковой день! Шекспир!

О. Попцов. ...альманах в том виде, в каком он есть, – слабая литература. Это – битая карта. Это – для среды неуправляемой, для среды слухов, сплетен...

Ф. Кузнецов. Аксёнов вел себя и ведет не как литератор, а как политический лидер. Всем понятно, что вы не прозрачны как стекло, Василий Павлович.

В. Аксёнов. Дело шьешь, Феликс?

Ну что тут скажешь, Василий Палыч давал бессмертные реплики. И Попцов хорош, большой демократ впоследствии. По похожему поводу мне однажды Васильев, главный редактор «Коммерсанта», сказал: «Если б я был в КПСС в свое время, то и до сих пор бы ходил с партбилетом, отсылал бы взносы куда-то, требовал бы проведения собраний...»

Тоже неплохо, этакий постмодернизм... Но лучше же вовремя перековаться и признать свои ошибки! Или – вовсе в партию (партии) не вступать.

Запад

Вот о чем думал Аксёнов (или персонаж его автобиографической книги, какая разница), когда на него наехал Хрущев: «Как будто на крутом склоне в горах под ногами поехала лавина. Мелькнула мысль: вот поверил этим гадам в 1956-м, после Двадцатого съезда, задвинул идею побега, вот теперь и плати». (Из книги «Таинственная страсть», права на которую издательский дом «Семь дней» выкупил для публикации в журнале «Коллекция каравана историй».)

Конечно, давно у него были такие мысли... Свалить, и там, на свободе! Делать что хочешь! И плевать на жалких совковых начальников, смеяться над ними открыто! Они идиотами то ли прикидывались, то ли были, неважно, – но сегодня с теми речами, которые гнали в Кремле, место ораторов было бы в психушке. «Не знали, не понимали» – что за детский сад. Если человек идиот, то это надолго.

31 декабря 1979-го, его последний новогодний праздник в СССР...

Аксёнов отмечал с Высоцким. Было почему-то невесело. На следующее утро Высоцкий попал в автомобильную аварию. По словам Василия Павловича, «поэт тогда поехал колынуться».

Летом Аксёнов улетел.

Не добравшись еще до Америки, но уже с настоящего За-

пада, из Парижа, он позвонил Ахмадулиной:

– Ну что у вас, Белка? Как дела?

– Володя умер.

– Нет, этого не может быть! Не может!

Видите, он сразу понял – какой Володя, такой Володя у него был один... На Высоцкого Аксёнов, наверно, сильно надеялся, строил планы:

– Высоцкий не оказался эмигрантом только лишь потому, что умер раньше времени. Ему надоели бесконечные ущемления, колоссальная односторонность его славы, когда весь народ кричит, как он его любит, а нельзя даже выпустить афишу концерта. Со мной, например, он обсуждал варианты эмиграции. У Володи была идея создания Культурного центра и Русского клуба в Нью-Йорке...

Конечно, в такой компании было бы веселей. Но увы...

Надо было одному как-то устраиваться на новом месте.

Много было злобных разговоров про миллионные гонорары, которые вроде как дожидались Аксёнова на Западе – за антисоветские книжки, типа он готовил почву и специально клеветал, чтоб нажиться. Завистники рассказывали и о других гонорарах – за 20-серийную киноэпопею «Неизвестная война» («Великая Отечественная»), снятую Карменом, и которые якобы унаследовала его вдова. Уехавшая с новым мужем.

Но, похоже, миллионов не было, раз уж пришлось писателю идти служить, причем не в какой-нибудь громкий

университет (Гарвард, Принстон, Колумбийский, Беркли, UCLA), а в маленький провинциальный, под Вашингтоном.

«Была такая фраза у Романа Гуля: в эмиграции ты не в изгнании, а в послании. Юз Алешковский написал тогда пародию: что-то такое не ахай, ты не в изгнании, ты в послании на хуй. Так и было», – признался Аксёнов после. И далее: «Я не мог долгое время с сыном поговорить. Он женился на молодой девушке, и ее мать, когда слышала в трубке мой голос, кричала: не смейте сюда больше звонить! Людей, которые приезжали в Вашингтон, предупреждали: с кем угодно встречайтесь, только не с Аксёновым».

Он там стал другим человеком: «За время работы в Университете (это он так писал с заглавной буквы. – И. С.) я стал тем, что называется “интеллектуалом”. Потому что, будучи просто советским писателем или антисоветским, я был “богемщиком”. Я имел случайные какие-то, клочковатые сведения обо всем – такая бравада. Советский писатель никогда себя не считал интеллектуалом. А в Университете мне надо было читать курс, и я очень много читал книг теоретических. Я стал врубаться в литературоведение, в историографию, в философию. Я изменился». И эта жалкая изнурительная поденщина – после всей богатой богемной гульбы в ЦДЛ! Наверно, грустно ему было... Может, боялся: плохо выучу теорию – выгонят с работы, и куда ж дальше бечь? На что жить? Кстати, наши эмигранты тех времен многие представляли себе эмиграцию по кинофильму «Бег»: сам в под-

штанниках под мостом, жена на панели.

Вообще что это такое – читать американским студентам лекции о русской культуре? Сам он так на это ответил: «Когда я показываю у себя в классе слайды авангарда, мои студенты спрашивают, когда это было. Я им отвечаю: в 1912–1913 годах. “Не может быть! – удивляются они. – Так писал Джексон Поллак!” Да нет, Джексон Поллак делал это пятьдесят лет спустя после Кандинского! Они этого не ведают. Студенты приходят, и я им открываю новый мир. Они не знают ни о российском ренессансе, ни о российской философии, ни о поэзии...»

В общем, по уровню это все равно что вести занятия в русском ПТУ. Не очень весело, наверно... Автор этих строк читывал лекции в американских университетах, причем не самых последних – и не сказать что был в восторге от студентов.

Про Аксёнова в Америке можно долго говорить, все-таки он там двадцать с лишним лет прожил. Первые девять – в изгнании, «в послании нах», как он выражался. Тут ему можно даже и посочувствовать. Но дальше, после упразднения совка и железного занавеса, он жил там еще 12 лет – жил там потому, что, наверно, хотел! Никто его на Западе не держал. Но он продолжал развивать тему изгнания, и это по меньшей мере не совсем корректно.

Потом таки он из США уехал, – с обидой на страну причем? Что так? А как же свобода, неподцензурность, рынок?

Никуда они не делись. Но случилось ужасное: американцы как-то вдруг перестали безоговорочно и немедленно печатать все, что бы Аксёнов ни написал. Они стали себе позволять неслыханное хамство – типа вот эта новая книга им не нравится. Каковы подлецы, а? Раньше, значит, он нравился, а теперь разонравился! Но ведь Аксёнов не виноват, что холодная война кончилась! Это же не он ее кончил, в самом деле. Его книги не дают большой прибыли – и это основание для того, чтоб его не печатать?! Неслыханно.

Он гневно заклеймил Соединенные Штаты: «Масса уродств в этой стране. В том числе в книжном мире. Вообще все, что касается бизнеса в Америке, это действительно агрессия и вопиющая сторона жизни. Где прекрасные качества американского народа подменяются. Говорят: “Ваши книги плохо продаются”. А вы, суки, сделали что-нибудь, чтобы они продавались?»

Но «суки» – это еще мягко сказано!

«Книжный рынок – это проститутки и гады, просто ничтожества». «Внутри бизнеса очень нехорошие отношения. За это ее [Америку] можно ненавидеть».

Но и это еще не все. Кроме книжного рынка есть же еще и журнальный.

«Возьмите New Yorker. Я там печатался, это считается за честь. Сейчас там главный редактор Дэвид Ремник – бывший московский корреспондент “Вашингтон пост”. Он просто не понимает, о чем идет речь, когда даешь ему гротескный рас-

сказ. Если анекдот или что-то новое в социальном плане – он придет в восторг. А что-то странное, метафизическое – не поймет». Какое он, собственно, имеет право? Не брать в печать странные рассказы?! Которые ему, видите ли, не нравятся?!»

Как говорится, такая Америка нам не нужна. И это касается не только Америки. Тут надо глянуть шире. Аксёнов рассказывал, что его «когда-то прочили в генсеки мирового Пен-клуба. Но после того как я резко выступил против Гюнтера Грасса (как мы позже узнали, бывшего эсэсовца) по чеченскому вопросу, все переговоры прекратились. Более того, меня занесли в черный список, перестали печатать. Когда “Новый сладостный стиль” мой агент послал в 14 немецких издательств, они немедленно все ответили отказом. То есть даже прочесть не успели. (Я, кстати, успел, но тоже от книги не в восторге. – И. С.) А до этого с радостью печатали меня».

И – гвоздем к позорному столбу: «Западная интеллигенция не лучше нашей». То есть тоже говно, как говорил покойный Ленин.

«Зачем мне оставаться там, где меня не признают писателем? Я понял, что моих книг там больше не будет. И я вдруг понял, что возвращаюсь в Россию, потому что опять спасаю свою литературу. Главное, я вернулся в страну пребывания моего языка».

Ну, это слишком громко сказано – насчет возвращения в страну языка. Все-таки он в Биаррице бросил якорь, ку-

пил там домик, настолько небольшой, что кабинет пришлось пристраивать. По пиару все правильно, набоковские места, и Стравинский там бывал, и Чехов, — а то вон в Москве и так полно писателей, на всякий случай лучше сразу обозначить, кто есть где. Тем более что там «полное Переделкино с примесью Коктебеля. Очень похоже». Можно бегать по пляжу в сторону Испании и писать (думаю, тут ударение все же на «а» — *И. С.*), никто не мешает.

«Биарриц — красивое место, но надоедает безумно. Полное отсутствие русского духа и слуха — это, конечно, угнетает». Так в чем проблема? В России полно этого добра, — но писатель Земли Русской бывал на ней урывками.

Я вот еще нашел прекрасную цитату из Аксёнова же:

«“Новые русские” при всей анекдотичности их поведения колоссально изменили облик россиянина во всем мире. До этого наш человек был несчастный, задроченный, совсем униженный, естественно без денег. Или страшный кагэбэшник, убийца. И вдруг появляются какие-то парни, может быть вчерашние пэтэушники, вчерашние бедные скоты социализма. Отвязанные, в отличных костюмах. Тратят деньги, ведут себя независимо. Красивые девчонки с ними приезжают. Такие ребята повсюду на Западе, и это не такой уж маленький процент россиян, как ни странно».

Во-первых, тут мне язык понравился. Точный, живой, современный, с модными словечками, что неожиданно в эмигрантском случае. Ну а во-вторых и в-главных, тут замеча-

тельно передан взгляд на мир старого стиляги. Пока он на Западе ходит на унылую службу и скучает с тупыми пэтэушниками, в Москве новые люди зажигают так, как ему не снилось в самые его лучшие времена! Это все судя по тому, как они сорят деньгами на Западе. А он-то со своими десятью тысячами грина в месяц наивно считал себя состоятельным человеком. М-да... В Москву, в Москву! Пока еще не поздно, пока еще можно порадоваться жизни – на новом витке спирали!

Бродский

Как это часто бывает с русскими литераторами, – и меня это неизменно забавляет, – они не любят Бродского. Вот и Аксёнов не любил. Причин полно.

«Сам Бродский в очень большой степени состоит из имитации Бродского».

«В философии Бродского много заемного. Он сам вообще весьма сардонического ума господин. Он подхватил идею о самоиронии у Самуэля Беккета и бесконечно эту мысль жевал».

«У Иосифа было заметно некоторое сардоническое отношение к посторонним, а к себе, в известной степени, – высокопарное». Да и вообще Бродский, по оценке Аксёнова (который, между прочим, тоже писал стихи, но почему-то с ними, как это ни странно, никто не носитя), плохо водил ма-

шину.

Более того: «В США... роман “Ожог” не удавалось издать. Потом я понял почему – оказалось, что Иосиф Бродский, который уехал за океан и обосновался в США раньше меня, всем рассказывал, какой это плохой роман. И только когда один из издателей случайно прочитал “Ожог” на итальянском, он жутко удивился: “Почему его до сих пор нет на английском?”»

Но с другой стороны – чего же вы хотите? Человек получил нобелевку по литературе, и что теперь, коллеги должны его любить, что ли? Особенно те, которых тоже на «Нобеля» выдвигали. Аксёнова, к примеру, выдвинул его американский университет в окрестностях Вашингтона, к чему он всерьез отнесся...

Возвращение. «Склиф»

«Многие вернулись в Россию, а вы нет. Почему?» – сколько ему надоедали этим вопросом! Как и многим другим знаменитым эмигрантам. Сколько того же Солженицына пытали! Пока тот не вернулся. Аксёнов явно оглядывался на Исаича, как же без этого, и надо было как-то реагировать, придумывать свою линию поведения и свои аргументы.

И он таки придумал. Он отвечал на проклятый вопрос с изяществом, которое сделало бы честь любому серьезному стилисте: «Я считаю, что насовсем и возвращаюсь. У меня

ведь есть здесь дом, – говорит он дежурные ритуальные слова и дальше, внимание, выдает главное: – Часть моих вещей еще осталась там, в США. Я имею в виду, например, пиджаки. Поэтому я совершенно не знаю, где они висят, и мне приходится покупать больше пиджаков, чем я могу носить».

Или так, это из другого разговора на ту же приблизительно тему: «Отличительной чертой нашего быта является то, что мы живем на два дома, в Вашингтоне и в Москве. Сейчас к этому еще присоединился маленький домик в Стране Басков. Постоянно забываешь, где оставил свитер или штаны. “Майя, ты не знаешь, где мой костюм, тот, другой?” А она отвечает: “А ты не помнишь, Вася, где мой плащ висит, на Котельниках или в Фэрфаксе?”»

О, эта провинциальность русского менталитета! Человеку надо уехать на Запад, там засветиться и подняться, – тогда и тут зауважают. Причем уезжать надо вовремя, когда «нельзя», а то вон Евтушенко уехал – в 91-м, когда открылись границы – и что? На кого это произвело впечатление? Никто ничего не заметил, теперь не бывает эмиграции, одни только турпоездки...

Русские хорохорятся, но на самом деле не очень верят в себя, им нужно внешнее одобрение. Или осуждение, все равно что, лишь бы с Запада. А свои – они типа такие же лохи, как все мы. Александр Кабаков и Евгений Попов, коллеги и друзья Аксёнова – хорошо и старательно пишут, дают качественные тексты, но они живут и жили в России, вот в чем

дело. И когда приезжал с визитом Аксёнов, он их затмевал, и это было несправедливо. Они что, пишут хуже? Ох не хуже...

Аксёнов говаривал, что напоминает себе Набокова, который когда-то вроде написал, – ссылки нет, поди проверь, – что голова у него говорит по-английски, сердце чувствует по-русски, а ухо ловит по-французски. Очень может быть, что сходство есть; а различие в том, что у Набокова, к примеру, не было не подвижности никакой и нигде – ну, кроме той, которую отняли большевики.

Вот эта тема жизни на две-три страны, отчего она так часто поднимается? В самом деле, не все ли равно, где человек живет и работает, – кому какое дело?

Ну если б было все равно, то Аксёнов бы так часто и так страстно не обсуждал эту тему, раз за разом, кстати и некстати:

– Есть такое предубеждение, что русский писатель не может творить за пределами своей страны. Это чепуха. Гоголь писал в Риме. И я самые значительные свои вещи написал в штате Вирджиния... Это опровергает постоянно навязываемую мысль, что русский писатель не может писать за пределами родины. Может писать за пределами родины! Это не только у меня получалось, у других тоже. У Федора Михайловича Достоевского, например.

И снова:

– Я отношу себя к русским космополитам, и в этом нет

противоречия. Пушкин ни разу не выезжал за границу, но был самым настоящим русским космополитом. Им же был и Гоголь, хотя он не мог жить без перемещений.

И опять:

– Русские писатели за границей писали очень плодотворно, примеров тому немало...

Волновала его тема, всерьез волновала... Его и не спрашивали про это, а он заводился и начинал спорить – с кем? С кем он спорил? Вот ему задают невинный вопрос о том, как ему Москва. Он красиво, художественно отвечает:

– Москва никогда не была такой красивой, яркой, swinging, шикарной. Никогда не было в ней столько греха, прелюбодеяний и красоты такой наглой. ...дорогие магазины, невероятная роскошь, Ferrari, Bentley! Какие-то шутихи взлетают, клоуны проходят, девушки ночью на лошадях – цок-цок-цок, всадницы. Ночные клубы сверкают.

Ну и далее вопрос, на который он напросился:

– Не тянет в новую Москву на постоянное место жительства?

– Нет, я, видимо, за эти двадцать лет стал космополитом. Если бы мне сейчас предложили выбирать, либо здесь жить, либо там, я бы послал Россию к чертовой матери и уехал навсегда. Такие выборы мы не принимаем.

И вот еще что он говорил:

– Они долго не принимали меня за своего – отечественные литераторы. Я там на всем готовом, якобы исписался,

оторвался от родины. Пренебрежение ощущалось. Но я виду не подавал.

Тут что, только в ревности и конкуренции дело? Или он им таки точно *не свой*?

А вот он на вопрос – «что ты любишь в России?» – рубанул, может, сгоряча, но теперь не вырубишь топором – вот что:

– Язык. Мне очень язык нравится. Больше ничего не могу сказать.

Ну хоть язык... И на том, как говорится, спасибо.

Это все, наверно, оттого, что его самого беспокоил этот вопрос: кто же он такой, он оттуда или отсюда, русский он писатель или не совсем? Эта тема проскальзывает тут и там. Он как-то взялся вслух рассуждать в одном интервью и пришел вот к чему:

– Я же эмигрантский писатель. На всю Америку, наверное, наберется десять тысяч читателей по-русски. Я пытался писать и по-английски...

Лично мне все равно – то есть было все равно – где живет Аксёнов. Я, кстати, не считаю жизнь в России за доблесть. И далек от мысли, что все эмигранты виноваты перед нами. Мне просто интересно следить за ходом мысли классика, хочется попробовать влезть в этот его спор с самим собой, думать о точке, которую он сам обозначил как болевую; в самом деле, чем он хуже Достоевского, кто запретил русскому писателю работать на уютном Западе?! Разве б хуже писа-

лось протопопу Аввакуму, скажем, в Лондоне?

Ну тут надо подкинуть такую цитатку из Аксёнова, еще сугубо американских времен:

– Я преподаю в университете, то есть с утра до вечера говорю по-английски, иногда ловлю себя на том, что и думаю по-английски. Тем не менее мне нужно сохранять свой русский живым, поэтому я вынужден (ах, вот как! вынужден, значит! – *И. С.*) два раза в году отрываться от своих близких и проводить месяца по два в России.

Как красива эта оговорка! Вынужден человек заезжать в Россию, иначе его инструмент затупится, значит, и нечем будет зарабатывать на хлеб.

И тут вот что получалось, какое шло развитие темы: Аксёнов – русский писатель, он просто пишет за границей! Но далее выясняется, им же самим, что он космополит. Потом он признается, что чувствует себя эмигрантским писателем... Далее он объявляет, что пошлет Россию к черту, если надо будет выбирать между ней и внешним миром. Я не уверен, что Достоевский бы под этим подписался... Или вот Гоголь и кто там еще писал за границей? – ну Тургенев.

Вот это повторение заклинания «я русский писатель, я русский писатель...» подталкивает нас к мысли о том, что Аксёнов, может, и не совсем русский писатель! И может, вообще не русский. (Стоп, стоп, кровь тут ни при чем, такой простой дискуссии не будет.)

А если не русский, то какой же?

Я собрал тут его высказывания, из которых следует единственно возможный вывод. Итак:

– Если рухнет американская империя, то это будет катастрофа для всего мира. Это будет пиздец. Тогда некому будет заниматься арабами, китайцами и греметь тяжелым кулаком демократии... Думаю, что [Белый дом] не избежит, и, на мой взгляд, избегать этого [искушения ударить по Ираку, Сирии, Сомали] не надо. Надо сказать Саддаму Хусейну: «Если жить хочешь, давай открывай свои погреба, будем их очищать. Не хочешь жить – твое дело!» Если бы не было такой силы, что бы мы сейчас делали? Мы бы ползали, как полураздавленные пауки. Следующей была бы Москва – взорвали бы Кремль. Летел уже самолет, чтобы разрушить центр Парижа.

– А Сербия? – перебивает его собеседник, забыв, правда, уточнить, что в кладовых Саддама ничего не нашли, а парня, кстати президента суверенной страны, повесить поторопились, ну да ладно, после реабилитируют. Русский (?) писатель отвечает:

– Сербских бомбардировок я не одобрял. Это была акция недостаточно продуманная (!), и сами американцы – хотя и смутно – покаялись (?) в ней. Но речь там шла о геноциде, США считали необходимым вмешаться.

Ну, кто прав, кто виноват, разбираться не время и не место. Но надо признать вот что: *такое и так* русские не говорят! Такое может сказать только... американец. Дело не

только в американском паспорте, который у Василия Павловича имелся, – но и в нерусских, чужих, американских взглядах, плохи они или хороши! И если хотите, интонациях. Во всех смыслах этого слова.

Василий Павлович сам это понимал:

– Мой сын Алексей как-то мне сказал: «Когда ты приезжаешь, то примерно неделю говоришь с не нашей интонацией. Тебя по интонации можно вычислить, что ты не совсем свой».

А вот кто-то из его чутких собеседников заметил, что у Аксёнова «чистый русский язык интеллигента и интонации “на повышение”, выдающие *американца*...»

Или вот еще такая красота. «Меня... однажды, к 50-летию советской власти, представили к медали “За трудовую доблесть”. Но и ее не дали. Потом уже где-то на Таганке я купил эту медаль – взял реванш. И даже иногда ношу ее». Я очень люблю эту как бы притчу, рассказанную Аксёновым. Вот настоящая у него эта медаль или нет? С одной стороны, с другой стороны, официально или по сути... Похожая ситуация и с вопросом о том, по-настоящему он вернулся в Россию, на ПМЖ это или так, для виду? Поди знай...

Я скажу больше: похоже, он еще перед эмиграцией решил перестать быть русским писателем. Вот вам свидетельство Евгения Попова, он не даст соврать:

«В это время (1978) он уже совершенно не пил. Это был подтянутый, спортивный, хорошо одетый, пахнущий доро-

гим одеколоном господин. (Таковыми русские писатели не бывают. – И. С.) Я спросил: и как это все кончилось? Да просто в один прекрасный день, отвечает, понял, что мне надоела такая жизнь. И без всяких “торпед” – бросил. С тех пор максимум, что Василий Палыч себе позволяет, – немного вина. Или бутылку пива».

Аркадий Арканов это прокомментировал так: «Когда он перестал употреблять крепкие спиртные напитки, то... повзрослел. Он стал мужиком в полном смысле этого слова».

Очень важное замечание! То есть Аксёнов из русского возраста (а наш этнос – это, по моим оценкам, подросток лет этак четырнадцати-шестнадцати) перепрыгнул в американский полтинник (опять-таки моя субъективная оценка), как в советском нравоучительном кино «Сказка о потерянном времени». В сказке персонажи вернулись в детство, – а в жизни? Постареть досрочно можно, не вопрос, – а омоложение пока не удастся ни за какие бабки...

Так как может русский писатель не пить? Особенно если он раньше пил и знает, имеет это знание, этот experience? Если он знает, что такое запой? В этой моей тираде, может, есть процентов двадцать шуток, ну двадцать пять, не больше... Я страшно серьезен.

Цитата из аксеновской книги «Таинственная страсть», про Ваксона, в котором автор вывел себя:

Однажды ночью, впрочем, когда выпиты были все отменные скочи и коньяки, а также ящик

химического «Солнцедара», взялся за парфюмерию. ... Стал открывать флакончики и дуть. ... Он понимал, что дьявольски болен, что у него пожар сердца или, вернее, «делириум тременс» и что если сейчас не придет кто-нибудь из живых, ему конец. ... Молил о помощи, вопил, что дверь открыта; и потерял сознание. <...>

– В больницу хотите? – спросил врач.

– Нет.

Обнадеживающий симптом, подумал врач Дмитрий и стал вынимать из портфеля пузырьки с психотропными лекарствами.

– Здесь три рода средств. Немедленно начинайте прием. Строго следуйте схеме. ... Разумеется, ни капли алкоголя. Нет, не навсегда, но на годы.

Другой русский писатель – Павел Астахов, из адвокатов, автор нескольких книг прозы – рассказывал мне о своем опыте долгой (кажется, года полтора) жизни в Штатах. Он в какой-то момент понял, что надо или ехать домой, или становиться американцем. Иначе все будет глупо и мучительно... И в такой ситуации каждый делает свой выбор. К тому же у Аксёнова на тот момент, может, и не было выбора! Он ведь уезжал как бы навсегда, из вечного Советского Союза... Он сделал *это*. Я бы сравнил эмиграцию с операцией по перемене пола, когда человек вроде тот же, но по сути – другой. В принципе, можно вернуться из эмиграции, можно поменять пол обратно, – да, теоретически можно. Так что, можно изрусеть, а потом снова стать русским, настоящим русским?

Можно отрезать, а потом обратно пришить, и все будет по-настоящему?

Он сам сказал еще жестче, – и как же зловеще и многозначительно это читается сейчас:

– Эмиграция чем-то напоминает собственные похороны, разве только после похорон (не раньше? не в момент смерти разве? – *И. С.*) вегетативка успокаивается, а в эмиграции она гуляет вовсю в течение довольно долгого времени.

Так, значит, возвращение из эмиграции, из эмигрантского состояния – это объявление похорон недействительными? Или что?

Он приехал и попал в «Склиф», в кому, то есть в новую какую-то сверхэмиграцию, вышел на некую границу, которую невозможно увидеть и понять.

Кстати или некстати мне вспоминалась тогда концовка «Мастера и Маргариты», с темой покоя и лунного света. Я думал, что, может, Аксёнов провел те месяцы комы будучи на полпути к Луне. С полпути же можно вернуться. Вопрос о возвращении долго оставался открытым...

Но он больше не вернулся.

Борис Акунин: «Спасибо Дэну Брауну!»

Этот автор не нуждается в представлении. После того как общий тираж его книг только в России перевалил за 15 миллионов – а еще ж были переводы на 35 языков.

Григорий Чхартишвили, он же Борис Акунин, писатель с миллионными тиражами – один из тех, кому мы обязаны возвращением моды на чтение.

Кажется, для него самого это важно.

Лавры

– Не жалеете ли вы, что поздно начали писать прозу? Что в двадцать лет не начали?

– Ну что вы! В двадцать лет можно писать стихи. Прозу – невозможно, и уж особенно романы. Это занятие требует большого опыта, как профессионального, так и жизненного. Кроме того, в двадцать лет меня занимали магниты по-притягательней.

– Здесь и далее я, с вашего позволения, буду вас обильно цитировать. «У меня нет никаких претензий на то, чтобы быть этой самой высокой литературой, я говорю это безо всякого комплекса, потому что я действительно считаю, что

массовая литература – значительно более важная и интересная вещь, и можно достичь гораздо больше, и перепробовать гораздо больше, и главное, очень много людей оценят твои старания». А кто у нас в России высокая литература?

– То, что написано давно, трогать не будем, да? Там я много кого люблю. А из современных мне кажется значительной проза Михаила Шишкина, Сергея Гандлевского, Людмилы Улицкой. Пелевина с Владимиром Сорокиным мне тоже читать интересно. Впрочем, из меня паршивый литобозреватель – как уже было сказано, я почти ничего художественного не читаю.

– «Лавры писателя для избранных меня – во всяком случае, в качестве Б. Акунина – не прельщают», – утверждаете вы. И сколько у вас по вашим ощущениям и подсчетам читателей?

– В России более или менее постоянных, наверное, миллиона три (если исходить из стандартного расчета, что одну купленную книжку в среднем прочитывает три человека). За границей – не знаю. Переводов-то много, но книжки не везде хорошо продаются. «Азazelь» например, как мне тут рассказали, продали в Дании несчастных 400 экземпляров.

– Помните, старые японские авторы, прославившись, тут же брали для свежести новый псевдоним. Нет у вас такого плана, чтоб с нуля сыграть в эту же игру? Был же псевдоним Ажар...

– Пока еще и с нынешним псевдонимом не всё ясно. В том

числе и мне самому. Посмотрим, куда кривая вывезет.

– «Мода на Бориса Акунина прошла, к счастью. Я долго и терпеливо ждал, пока это закончится. Мода – вещь полезная в том смысле, что она расширяет круг твоих читателей, пока она есть. Потом она уходит, и ты остаешься с тем кругом, которым ты за это время обзавелся». А бывает, что мода возвращается?

– Конечно, бывает. Это произошло с Траволтой после «Криминального чтива». Или с нашим Алексеем Баталовым. Или с Людмилой Гурченко. Примеров не так мало.

– Каковы признаки великой литературы?

– Если вы имеете в виду величие той или иной национальной литературы, то, полагаю: вклад в мировой литературный процесс; степень влияния на культуру и менталитет народа; наличие плеяды великих имен (один Гарсиа Маркес не сделает колумбийскую литературу великой); «нескоропортящость» – в такой последовательности.

– «Один известный писатель, с которым я давно знаком и в хороших отношениях, на каком-то вернисаже, выпивши, правда, кричал мне: “Как ты можешь заниматься этой халтурой?! Ты же интеллигент!” и все такое прочее. Публика смотрела с интересом». А ваша реакция, внешняя и внутренняя? И насколько успешен он сам? Действительно глубок?

– Бог его знает. Когда-то был хорош, теперь не знаю, потому что (говорю это в третий раз) я же ничего не читаю. Но говоря в общем, великий писатель вполне может быть в

частной жизни дураком и бякой. Ну а сколько среди отличных людей скверных писателей, не мне вам рассказывать.

– «Тюкан сесэцу, Пелевин, Акунин и Мураками успешно заполняют “лакуну” между серьезной и массовой литературой», – это я где-то вычитал. Ну как вам это? И ряд, в который вы попали?

– Нормальный ряд, меня устраивает.

Чтение

– «Третий месяц маленькими порциями жую “Клима Самгина”. Озадачивающая книга». Чем по-вашему хорош Горький?

– В этом романе? Честной попыткой изобразить Россию такой, какой он ее видел и запомнил. Ну а так вообще много чем. Крепкий писатель. Только вот с концом жизни ему не повезло.

– Читаете ли вы «Иностранную литературу»? Чем журнал хорош? Существует мнение, что это единственный толстый журнал, который удержал уровень. Причина этого проста – их литература, в отличие от нашей, не изменилась? Или?

– Уже не читаю. Причина все та же – не хочу перебивать свою внутреннюю литературную эволюцию чужеродными влияниями. Это в моем ремесле бесполезно.

– Снова вас процитирую. «С тех пор как я начал писать художественную литературу, я перестал ее читать совсем. Все

мои впечатления о современной литературе заканчиваются осенью 2000 года, когда я ушел из редакции журнала “Иностранная литература”. С тех пор я читаю только документальную литературу, а также, так сказать, архивные документы». И какой она, не только японская, но и вообще, законсервировалась в вашем представлении?

– Если честно, то довольно скучной – это я о современной литературе. Чтение художественной литературы должно быть захватывающим приключением – интеллектуальным, или духовным, или эмоциональным. Иначе зачем она нужна? За время работы в «ИЛ» я прочитал тысячи романов, но приключением для меня стали хорошо если пять-десять из них.

– Вы благодарны Дэну Брауну. С кем он может сравниться по заслугам в пропаганде чтения книг?

– С Опррой Уинфри. Но Джоан Роулинг, заставившая десятки миллионов детей по всему миру отвлечься от компьютерных игр и сесть за чтение, конечно, даст сто очков вперед обоим американцам.

– «Была у меня идея: помочь новым авторам запуститься. Допустим, я даю сюжет, соавтор пишет текст. На обложке два имени, гонорар пополам и т. п. Так сказать, обзавестись командой единомысленников (но разностильников). Пока не доходят руки. Как и до другой давней идеи: выступить тандемом с кем-нибудь из состоявшихся писателей, кто пишет совсем-совсем по-другому. Интересно, что получилось бы».

Чьи примеры вас тут вдохновляют? Дюма, Ильфа и Петрова? Кто из современных писателей вам интересен как соавтор? А кого б вы взяли литературными неграми?

– Взять в соавторы состоявшегося писателя – это одна история. Помочь запуститься новому писателю – совсем другая. Речь здесь идет не о батрачестве, а о разделении обязанностей. И всего прочего тоже, вплоть до имен на титуле.

– «В “Мастере и Маргарите” есть, на мой взгляд, какие-то сырые, непропеченные места, там еще надо было бы что-то поделать...» Как вам экранизация – с высоты вашего опыта, вас же тоже экранизировали?

– Не очень она мне понравилась. «Идиот» и «Собачье сердце» у того же режиссера, по-моему, получились лучше. Тут странный кастинг, а главное – там нет драматургии на десять серий, из-за чего временами и получились огромные провисы (как теперь принято говорить, ІМНО). Я думаю, если бы режиссер Бортко попробовал перемонтировать всё это в четыре серии по 52 минуты, мог бы получиться неплохой фильм.

Достоевский

– Почему, как вы думаете, на Западе так любят Достоевского? И можете ли вы прокомментировать следующие высказывания? Бунин: «Да! – сказала она с мукой. – Нет! – возразил он с содроганием. – Вот и весь ваш Достоевский!» Ми-

хаил Гаспаров: «Как Достоевский взял криминальный роман и нагрузил психологией, так Набоков взял порнографический роман и нагрузил психологией; получились “Лолита” и слава».

— Бунин — бог с ним, он ради красного словца много чего говорил и писал. Трудно поверить, что ничего, кроме муки и содрогания, он в Достоевском не разглядел. На мой взгляд, Достоевский прежде всего велик тем, что его занимают тонкие сферы души, те неразличимые глазом швы на ленте Мебиуса, где лицевая сторона и изнанка меняются местами. Ну и завораживающим, почти шаманским потоком слов. Второе для западного читателя, к сожалению, пропадает, но вполне достаточно и первого. Что же до высказывания Михаила Гаспарова, то оно, сколько мне помнится, касается методологии завоевания западного читателя: мол, элитарностью Набоков в Америке, стране массовой культуры, не мог бы достичь славы, потому и взялся за облагораживание жанра заведомо низкого. Тут можно бы поспорить, но формат нашей беседы вряд ли это выдержит.

— Как у вас с азартными играми?

— Никак. Люблю выигрывать, но не расстраиваюсь из-за проигрыша, а тут в проигрыше-то самый надрыв и есть, порасспросите про это Федора Михайловича. Не играю в азартные игры, неинтересно.

География

– Ваши подростковые мечты были сплывать вокруг света и выучить французский язык. Это удалось? Если да, то имело ли это какие-то последствия для вашего творчества? Где вы плыли? И почему – французский?

– Плыл я везде, из города Саутгемптона в город Саутгемптон. Если кто-то вам говорил, что Новая Зеландия – рай земной, верьте. Так оно и есть. А насчет французского... Он такой красивый. Какую чушь ни скажи – звучит, словно музыка.

– Япония единственная страна, которая пережила две ядерные бомбардировки. И хоть бы что? Она стала еще более особенной? Живучесть? Люди не сбежали из страны, жили себе. Мы б такое пережили?

– А куда бы мы делись? Хиросима и Нагасаки не страшнее Гражданской войны, Большого террора и 41-го года.

– «По своей воле я не уеду, это точно. Ну если, не приведи Господь, какая-нибудь разновидность фашизма новообразуется, тогда конечно», – говорили вы. Такой сценарий вам видится реалистичным, вероятным? А если ехать, то в какую страну?

– Увы, подобного витка нашей истории не исключаю. Это может произойти, если власти заиграются в скинхедско-расистские страшилки, чтоб попугать обывателей. Как показал

опыт Веймарской Германии, спички в руках ребенка – опасная игрушка. Под «ребенком» я имею в виду всякого рода политтехнологов, причастных к власти.

– Где вы любите гулять: по Москве или за городом, в каких местах?

– По менее малолюдным бульварам. По переулкам Белого и Земляного Города. Очень люблю Хамовники и всё вокруг – там прошло мое раннее детство. А в Подмоскovie больше всего люблю Звенигород и Новый Иерусалим.

– «Москва была дырой и культурным захолустьем. Сегодня это витальный и brutальный, безжалостный и прекрасный город, в котором плохо быть старым и замечательно быть молодым. Это вампир, который высасывает талантлиую кровь из всех капилляров огромной, быстро меняющейся страны. Это, конечно, плохо для России в целом, но для Москвы замечательно». Какие места, рестораны в Москве вам ближе?

– Господи, чего я только не наговорил во всяких разных интервью. Откуда вы это выдернули? Про места я уже говорил. Про рестораны, если можно, не буду. Я не ресторанный критик.

– Были вы в любимой стекляшке Бендукидзе в Кунцево, где, по его мнению, лучшая барабулька?

– Нет.

Личное

– Вы однажды сказали, что из всех ваших героев больше всего на вас самого похож, наверное, белый бульдог. И по каким же признакам?

– По брудастости. И упорству.

– На волне успеха, в том числе материального, можно ли сказать, что, получив финансовую независимость, вы занимаетесь действительно именно тем, чем хотите? Или еще непонятно, чего вам надо, и страшно бросать колею?

– Нет, мне совсем не страшно. Мне интересно. Очень хочется попробовать сделать и то, и другое, и третье. От этого и случается брак в работе. Слишком тороплюсь закончить одно и начать другое – руки чешутся.

– Снова цитата: «Я очень люблю собак, но я та бодливая корова, которой, я когда вижу собаку кого-то из гостей или знакомых, я должен подойти к ней, познакомиться, тискать, хватать, за это мне немедленно приходится расплачиваться, потому что у меня жуткая аллергия на собак, я сразу начинаю плакать, истекать флюидами и так далее, и тому подобное. Поэтому я не могу иметь собаку, чувствую себя в этом смысле фактически Эрастом Петровичем Фандориным, который никак не может найти идеальной любви». Вы понимаете механизм аллергии, в частности на собак? Какой-то смысл можно увидеть в этом – или нет?

– Аллергии, насколько мне известно, наряду с мигренями – одно из самых загадочных заболеваний человека, своего рода расплата за отдаление от природы. Лечить их никто толком не умеет. У меня есть знакомая, у которой дома две старые собаки, и вдруг началась аллергия, сильная. Несколько раз ей вызывали скорую помощь, так ей было плохо. Принимает каждый день таблетки, делает уколы. Ну а что делать? Не усыплять же?

– Далее. «Согласно занятой науке соционике таких типов существует всего шестнадцать, и каждый назван по имени какого-нибудь знаменитого и характерного его представителя – Наполеон, Раскольников и так далее. Когда я еще не был знаком с соционикой, я тоже принялся считать психотипы». А кто вы с позиций соционики?

– Это моя сугубо личная тайна.

– «Моторчик, который внутри меня, – это боязнь двух вещей: а) соскучиться от жизни, б) что мне нечем будет заняться. Я всегда больше всего любил играть. И продолжаю это делать в уже немолодом возрасте». Опишите людей соскучившихся от жизни, которых вам доводилось наблюдать с близкого расстояния.

– Про личных знакомых говорить не буду. А про тех, кого вижу на телеэкране... Жалко телеведущих, которые год за годом ведут какое-нибудь одноклеточное шоу. У них, бедных, такая смертная тоска в глазах. Жалко Владимира Жириновского – у него глаза хитрые, но ужасно грустные. Тяж-

кое он себе выбрал ампула. Жалко людей, которые боятся стариться и черт-те что вытворяют, лишь бы обмануть время. Самое печальное, что множество людей соскучились от жизни, так ее толком и не испытав.

– Как у вас с грузинским языком?

– Нэ знаю. Меня увезли из Грузии, когда мне был месяц от роду.

– Любите боржоми? Не кажется, что много поддельной?

– Да не хуже какого-нибудь «Святого источника», благословленного епископом.

– Почему грузинские вина дороже французских?

– Спросите что-нибудь полегче.

– «Гениальный человек – это человек, который правильно понял, для чего он в жизни предназначен, и последовал этому зову. (Это я не про себя, поймите меня правильно, я еще только ищу)». Сколько еще времени вы отводите на поиски? Может быть так, что вы перестанете искать и решите просто наслаждаться жизнью? И как?

– Да я уж, наверное, без этого не смогу наслаждаться жизнью. Если найду что интересное, обязательно расскажу.

Светлана Алексиевич:

«Даю сказать тем, кого не слушали»

«День и ночь гонят товарняки с кулацкими семьями. В Сибирь. Мы охраняем станцию. Открываю один вагон: в углу висит на ремне полуголый мужчина. Мать качает на руках маленького, а мальчик постарше сидит рядом. Руками ест свое говно, как кашу. “Закрывай! – кричит мне комиссар. – Это – кулацкая сволочь! Они для новой жизни не годятся!”»

Цитата из интервью, которое Светлана Алексиевич взяла у очевидца. Кажется, это самое яркое, емкое и короткое описание Большого красного террора, какое только возможно. Это не что иное, как большая литература, друзья.

Когда объявили о присуждении премии именно Светлане, я написал колонку в том духе, что вот и мы победили. Война, понимаете, русский империализм, «крымнаш» и прочее в таком духе, – и вот нате вам! В список главных писателей мира попала Светлана Алексиевич, которая пишет про маленького человека, и сочувствует ему от всей души, и жалеет его, да, кстати, и есть за что... Девчатам, которых на Второй мировой убивали и калечили, а кто вернулся – тех презирали, приходилось скрывать фронтовое прошлое! У кого была на войне мать, тот поймет. Потом она написала про Чернобыль, про его ужасы. Начальство наше тогда скрыло от людей катастрофу, да пусть мрут, хрен бы с ними. Дальше –

дети, которых погнали в Афганистан убивать и умирать. Кто еще, кроме Светланы, оплакивал их и жалел, кто из русских писателей-патриотов? Кто-то недоволен, что «Нобеля» дали за гуманизм, а не за стилевые изыски... Ну что ж.

На нее обрушилась небывалая, невероятная слава! Тыщи журналистов бросились на штурм новой нобелиатки. Очнулись. Пробиться к ней было нелегко. Тем более что некоторые «доброжелатели», конкуренты, исказили мой образ и наговорили Светлане про меня, что якобы я грубиян, «у него через слово мат»! Но нашлись честные люди, которые сказали ей правду: я – тончайший человек, к тому же безукоризненно воспитанный.

И вот наконец мы пьем у нее на кухне. Пьем, правда, чай. Сколько уж я разговаривал с писателями! И практически всегда – под водку, ну в крайнем случае, под виски.

Надо сказать, что я волновался. «Нобель» – это круто. Приблизительно такой же мандраж был у меня, когда я ездил на вручение «Оскаров» в девяностые. Что может с этим сравниться? Ну вот еще на коронацию нового русского царя я надеюсь попасть, по моим расчетам, вроде как должен дожить.

Страдания. Садо/мазо

– Светлана! В ваших книгах главное – это, может, сочувствие к человеку. Который страдает. Вы столько уже сказали

и написали про страдание. Есть народы, которые всё страдают и страдают, без остановки. Гордятся этим. Вот есть люди мазохисты, а почему ж тогда не быть этносам-мазохистам? Итальянцы с французами, к примеру, выпьют вина, вкусно закусят и отдыхают, радуются жизни. А некоторые другие народы сидят угрюмые, недовольные...

– Что-то в этом есть... Мы накрыты вашей тенью мощной.

– Нашей – в смысле донецкой?

– Нет, русской. У нас люди до сих пор смотрят русские каналы. Ваше преступное телевидение – в голове у наших людей! Но не у белорусов чистых, а у русских.

– Дебилы, блть, как мудро заметил наш министр Лавров, мастер слова.

– После войны ж у нас было мало населения, погиб...

– ...погиб каждый четвертый белорус, мы помним.

– Да. И поэтому завезли очень много русского населения.

Это такое тихое место, сюда съезжались отставники. Когда русские бежали из Прибалтики и других бывших республик – то многие ехали в Беларусь. Вот я недавно сижу в очереди у зубного... Вдруг какой-то мужичок заходит и говорит: «Так, Крым взяли, теперь на очереди Одесса, ее Екатерина в кровати подарила кому-то!» И все это повисает в тишине. Потому что белорусы этого не поддерживают. Только я одна отозвалась: «Ну а с Калининградом как будете?» Он не ожидал сопротивления, потому что привык – все молчат. И сказал только: «Ну, это же наше страдание». Я ему: «Ну,

если мы будем мериться страданиями... Сколько Иван Грозный белорусов повырезал!» Он говорит: «Грозный и своих резал». Своих – резал, но мы-то при чем?

– А что, голодомор в Белоруссии, есть такая тема?

– У нас этой темы – голодомор – нету. Но тут я на стороне украинцев, я с детства эту тему впитала в сознание. Мы, бывало, с бабушкой идем по селу, и она говорит: «Деточка, тише, тут живет бабушка, которая в голод съела своих детей...» Она рассказывала мне, как у них вытрясали последнее зерно, как они прятали что-то, как вокруг пруда стояли красноармейцы и не пускали людей к воде, чтоб те не могли наловить рыбы. Как ели конский навоз... У меня с голодомором – четко.

– Да, так вот мазохизм. Возможно, это промежуточное состояние. А не включен ли вообще механизм самоуничтожения этноса? Как говорил ваш коллега Пелевин, заговор против России есть, особенность его в том, что в нем участвует все население страны. Население вот уменьшается, медицину с образованием сворачивают, пенсии режут, водка льется и все такое прочее... Вот как киты выбрасываются на берег. Может, и с народами такое бывает? Сколько этносов пропало из тех, что описаны в Библии!

– Я знаю эти интеллигентские теории, они время от времени появляются... Но я так не думаю. Просто это народ с очень тяжелой историей... Люди хорошие вроде бы, но история какая-то ужасная! Вот у Достоевского – культ страдания.

А я считаю, что страдание корежит, портит, деформирует.

– Может, это таки национальный мазохизм?

– Нет, я бы не могла это назвать национальным мазохизмом. Но есть какая-то обреченность. Все время нужна сверхидея какая-то! И все становятся заложниками этой идеи. И вдруг – исчезает человеческое.

– У меня есть термин – «духовность в хорошем смысле слова». Большевики уничтожали материю. И сейчас власть этим занята. Это как староверы уходили в леса. Не надо смеяться над духовностью, она таки есть, и она важна для русских. Лыковы ушли в леса, про это «Таежный тупик» Василия Пескова...

– Вы любите теории интеллигентские, а я исследую массовое сознание. Исследую формы, в которых масса перетекает. А то, что вы говорите, – я называю это мережковщиной, Мережковский любил такое.

– По мне, так это почетно – быть мережковцем!

– А я это из себя всегда вычищаю. Вот почему у меня мало комментариев. Потому что то, что я достаю из жизни, – что можно рядом с этим поставить? То, о чем вы говорите... Я не люблю такие интеллигентские теории. Они красивые – так, иногда потрепаться за столом. Друг перед другом – мы можем поупражняться.

– Да ну, какой из меня интеллигент... Я – человек из глубин пролетариата. Я уверен, что вы читали Захер-Мазоха, Зимбардо и прочих про страдания и насилие.

– Конечно.

– А вы не ходите в секс-шопы?

– Ни разу не была.

– Вот! А надо бы.

– Да, надо найти какую-то лесбиянку и сходить, – не пойдешь же туда с мужчиной.

– Я вас призываю непременно сходить. Чтоб вы заглянули в подсознание народа еще и с этой стороны. Плетки, хлысты, наручники, кляпы...

– Это дальше Достоевского?

– Думаю, это другой аспект. Одни люди мучают других. (Вам это ничего не напоминает?) Люди платят деньги за то, чтоб их били. Это огромный рынок! На рынке страданий крутятся огромные деньги! Обещайте сходить!

– Да, надо сходить. Может, это как-то связано с наслаждением?

– Ну да. О чем я и говорю. Таковы мазохисты. Люди и этносы. Это я к вашей теме страданий. Вот и водка, не чужая нашим народам: люди кривятся, морщатся, кричат, запивают, им противно. Выбор напитка народом – это же архиважно. Или, ладно, водка – но ее ж можно разбавлять, ну, там, березовым соком, патриотически. Но нет! Надо чтоб было противно. Не просто пьют, а помногу, чтоб утром похмелье, это ужасное состояние – впрочем вам не понять, вы ж не пьете. В армии и в тюрьме мучают друг друга. Ну вы понимаете, о чем я говорю.

– Да, понимаю.

– Вот этот список мазо. Не получается ли так, что Россия (и Белоруссия тоже, а Украина уходит от этого) – страны такого православного фундаментализма...

– Нет, я думаю, это только Россия.

– Ну вот как исламские террористы. Шахиды.

– Я видела, как моджахеды спокойно говорили о смерти. В плену.

– Возможно, Россия – страна победившего фундаментализма, того же мазохизма. Мой дед рассказывал, что замполит на фронте ставил задачу – воспитать в бойцах презрение к смерти. Прекрасный термин, ныне забытый. Ну и дальше – уничтожить сельское хозяйство, вообще экономику... Вы думаете, что я перебарщиваю?

– Вы подгоняете под идею, а жизнь всегда богаче идеи.

– Да я не подгоняю, а пытаюсь понять и объяснить происходящее. У меня вот такая версия, такое оправдание, объяснение. А у вас какая версия?

– Я думаю, что мы просто опоздавшие люди. Когда в Болонье основали университет – и когда у нас?

– XI век?

– Ну вот. А у нас что было тогда? Кривичи и вятичи бежали?

– Ну так и что ж тогда делать? «Что делать?» Сидеть в деревне тихо?

– Вот Россия пытается что-то сделать... Идея эта, по-мо-

ему, дугинская – что Россия сделает рывок и спасет цивилизацию. Но меня больше интересуют не эти отвлеченные темы – а битва добра и зла, скажем так, больше вот эти вещи.

– Поле битвы – сердце человека, а ля Достоевский?

– Я круг вопросов сузила вот до этого предела.

– А вот еще же Игорь Шафаревич, был такой автор. Я в самиздате читал его книжку с названием приблизительно «Социализм как явление в мировой истории». Там было про то, что в разное время возникали – независимо друг от друга, потому что никакой связи между ацтеками и большевиками же не было, никакой преемственности – цивилизации, в которых не было собственности, кроме государственной, не было свободы и народ истреблялся просто так, без всякого смысла. И они все почему-то строили пирамиды, типа нашего мавзолея. Это в продолжение темы мазохизма и самоуничтожения.

– Я к социализму не отношусь так воинственно. Мне кажется, что это красивая человеческая идея. Но почему она кончается кровью? Пока мы не готовы к ней...

– Ну, все дело тут, я думаю, в принуждении. И колхозы, и лагеря – хорошо, была б добровольность! Хочешь в лагерь – запишись в эки и сиди себе 25 лет. Захотелось тебе коллективной собственности – иди в колхоз. Считаешь, что надо все поделить поровну – раздай свои деньги бедным. Но если ты начинаешь чужое делить, тут-то тебя надо срочно остановить и примерно наказать.

Фрикативное «г»

– Вот скажите, Светлана... У вас иногда идет «г» русское литературное, а иногда – фрикативное. Такой разброс туда-сюда.

– Да. Но я и не прислушиваюсь особо к себе. Но знаю, что у меня много неправильных ударений. Вообще Сталин же сделал «наркомовку», тот белорусский язык, который у нас сейчас, – он же не настоящий! Был настоящий, но Сталин его испортил. Совсем другой язык стал... Он теперь больше похож на русский. Другие ударения...

– Так у вас в основном фрикативное «г»?

– Думаю, что да.

– Вот что мне еще приятно в вашем награждении. Смотрите, из русских нобелевских лауреатов (по литературе) у двоих было фрикативное «г» – это Шолохов и Солженицын. У третьего – Пастернака – этого не было, ну так он и от премии отказался, так что... Что касается Бунина, точно не знаю, но это Воронеж, а фрикативное «г» уже в 150 км от Москвы начинается. Чехов не успел получить «Нобеля», но и он наш, парень из Таганрога, с юга. И вот теперь – вы!

– А еще же Горбачев.

– Ну, у него не по литературе премия, но давайте вставим и его в этот список! Фрикативное «г» – его пора бы уже сделать нормой. Так говорят и говорили люди, которые просла-

вили русскую словесность! Но вот сидят какие-то безвестные клерки в институтах и министерствах и навязывают нам эту столичную «г»... Спрашивается – на каком основании? С чего вдруг? И еще. Вы ведь белорусский знаете.

– Ну да. Я его понимаю, читаю.

– Вас когда спрашивают по-белорусски, вы отвечаете на русском. Барьер? Стесняетесь?

– Не стесняюсь. На белорусском я могу говорить, но я поняла, что в нем не буду равна себе. В белорусском я не так свободна, как в русском.

Эмиграция

– Вы не хотели уезжать из Белоруссии в эмиграцию. Долго. Но потом у вас начали душить диссидентов, и вы таки уехали...

– Начали душить. Но причина другая была. Понимаете... Бывало, придешь на собрание, и писатели радостно говорят друг другу: «Слушай, как наши хлопцы дали этим ментам, аж кровь текла!» Тогда еще не было таких зачисток, как сейчас... Я посмотрела на нас со стороны и подумала: «Какой кошмар! О чем мы, писатели, говорим? Баррикады – опасное место для художника. Там человек исчезает, видишь только мишень в человеке». Я не хотела стать Демьяном Бедным! Я уехала, чтоб вернуть нормальное зрение. Потому что это было ужасно. Я тогда уехала (и Василь Быков уехал в то же

время) и прожила на Западе 12 лет. Италия, Франция, Германия, Швеция. И действительно, та жизнь дала мне более широкий взгляд.

– Как это было оформлено?

– Там, в Европе, много организаций, которые занимаются писателями. Они дают квартиру, стипендию, переводчика. Я жила там, смотрела на чужую жизнь, много читала и писала, ездила на презентации своих книжек. Василь Быков там умер... Владимир Войнович вернулся. Что там делать? Вы не поймете ту жизнь. Она иначе устроена. Я вот тоже вернулась.

– Помните, Есенин объяснил, почему не остался в Америке: «Там не перед кем раскрыть свою душу». Вот предпочел повеситься на родине.

– Там все другое, за границей... Есть, конечно, интеллектуалы – но все равно таких глубоких разговоров, как у нас, они там не ведут. Я могла остаться во Франции, в Германии, мне предлагали. В Берлине у меня был кабинет с видом на озеро... Но я сказала: отдайте эту квартиру сомалийцу, которому действительно некуда вернуться, а я – поеду домой.

– Вы говорили, что одна из причин вашего возвращения – ваша внучка.

– Да, Яночка! Ей десять, она такая прелестная девчонка. Мы дружим! Родители, мне кажется, ее упустили: она не хочет читать. Я нашла сейчас ход такой, мне один друг посоветовал, который своего ребенка приучил к чтению, давая ему

комиксы. Вот и я попробую этим путем зайти.

– Какая ирония судьбы – вы писатель и вообще нобелиатка, а внушка не хочет читать.

– Да, да, да! Я сама виновата: подарила ей планшет. Наверно, не надо было, это слишком рано, в таком возрасте.

– Значит, вы вернулись, чтоб проводить с ней больше времени.

– И с ней, и вообще – здесь мне лучше. А там – чужой мир. Ну что там? Другая жизнь. Не совсем наша. Ну и потом, тот жанр, в котором я работаю... Он такой, что мне надо быть здесь, с людьми.

– Помню, сколько-то лет назад в инете выступила ваша почитательница Маргарита Урицкая, сообщила, что, подначитавшись ваших книг, вернулась из эмиграции. Где она сейчас?

– Не знаю, где она теперь. В 90-е годы было много разговоров про будущее страны, людям было интересно жить! А сейчас... Кому интересно жить в путинской России, скажите? И тем более в Белоруссии? Мы же оказались ни с чем, не там, где думали. Не там, где хотели. Сейчас никому в голову такая мысль не придет, о возвращении, – это не девяностые годы!

– Многие сейчас говорят: «Уезжайте!»

– Да. Это абсолютно верно. Уезжайте – и как можно скорее. Из России, из Белоруссии. Как подрастает новая генерация – так выходит на площадь. Их выкидывают из универ-

ситетов, они уезжают в Европу, есть разные программы западные. Уезжают – и всё, пропадают для Белоруссии. Находят там ниши для себя. Приезжают сюда, побудут неделю – и говорят: «Нет, не можем тут больше тут жить!» Быстро приывают к тому, что там с людьми иначе разговаривают... По моей рекомендации отправили одну девушку в Германию, учиться. Говорит, что не хочет возвращаться. Меня иногда спрашивают – может, вернуться? Я говорю: Пока нет. Беру такой грех на душу... Есть надежда на новые времена, но когда они настанут? Наш, по-моему, без крови не уйдет.

– А мы с вами – живем здесь!

– Мы-то – да, а вот молодые... Они же молодые совсем... Я, кстати, спросила вашего Яковлева (основатель «Коммерсанта». – И. С.), когда мы с ним встретились в Израиле: «Ну как вы тут живете, здесь же всё так провинциально! Я сама живу в провинциальной стране, но вы-то всё же из Москвы! Ну в крайнем случае, жили б в Берлине...» Он мне говорит: «Светлана, да здесь все, кто был со мной в Москве! Все тут! И еще больше придет!»

Журналистика

– Журналистика и писательство – это кошка с собакой или болонка с бульдогом? Пропасть между ними есть?

– Смотря какая журналистика. Если она высокого класса, то сходится с литературой. Скажите, Игорь, а у вас нет чет-

кого плана, по которому вы работаете? – вдруг спрашивает меня нобелиатка.

Я чего-то начинаю ей рассказывать про свои книжки, но быстро спохватываюсь:

– Мне лестно, что вы расспрашиваете меня про мое «творчество», но я б лучше расспросил вас про ваше.

– Я же слушатель в основном. И я в четвертом поколении учитель.

– А вот я б не смог! Это же требует железных нервов.

– Ну и некий повтор идет. Повтор самого себя.

– И ты привязан жестко ко времени и к месту.

– И еще же там суеверия, которые ты должен впихнуть в этих несчастных детей...

– Вы работали в газете – это что, как Ванька Жуков, который долго чистил селедку, прежде чем хозяин сказал: ты прошел уже школу послушания, теперь буду тебя учить ремеслу. Вот вы служили в газете – а потом вот стали писать книги.

– Нет. Мне легко было работать в журналистике. Мне нравились поездки! Это ж, в принципе, роскошная работа! Сегодня хочешь – говоришь с известным писателем, а завтра еще с кем-то известным, – летчиком например.

– Может, завтра мне достанется летчик, а сегодня вот как раз известный писатель.

– Это шикарная работа, в газетах, в журналах. Удовольствий много!

– Мне нравилось, что не надо было тупо ходить на работу каждый день.

– Да, свобода!

– Потом еще пьянство мне нравилось в газете. Впрочем, вы-то не пьете.

– Я не пью. И не курю. А эти мужчины пьяные, с которыми приходилось ездить...

– Вы как святая.

– Да уж где там! Но мне было неуютно в журнале. Я не могла вот полностью выложиться там. То, что мне было интересно, – то журналистике нашей не нужно было. Сейчас хоть сайты всякие есть, пиши, что хочешь. А тогда журналистика просто в кандалах была закована, в наручниках!

– А вам говорили: «Ты солдат партии!»?

– Конечно! Но у меня мозги были иначе устроены. Меня раздражало, когда меня начинали учить жить. Вроде и редактора ко мне хорошо относились... И вот они ко мне со всей душой – и вдруг наталкиваются на что-то совершенно непонятное...

Fiction vs non-fiction

– А вы мне скажите, Игорь, – отчего русские писатели травлю устроили мне? Чего они так взволновались? Как вы это объясните?

– Ну, может быть, потому что сейчас в русской литерату-

ре мейнстрим – это такие длинные придуманные истории, романы. Там персонажи подходят к окну, и долго смотрят вдаль, и произносят длинные внутренние монологи. Ну и есть, насколько я могу заметить, некое чувство превосходства...

– Над маленьким народом? Мне тоже так кажется. Мне иногда говорят: «Ой, Света, ну какой белорусский язык, о чем ты? Нету такого!»

– Вы вроде как ниже стоите в иерархии, белорусы, а тут вдруг такое...

– Имперское такое чувство. Я была удивлена! Прилепин – это понятно, он сказал, что, когда наши подлодки будут у Парижа (правда, непонятно, как они туда попадут), тогда русским дадут премию... Даже писатели, про которых я и не думала, что они смогут не спрятать это, не окультурить свои чувства... Даже Татьяна Толстая!

– Как, и она? Я просто не следил.

– Да. Сказала, что русский писатель не скоро теперь получит.

– Ну и еще же многие объявили вас не писателем, а журналистом. Были реплики того рода, что премию надо было дать не вам, а вашему диктофону. Переход из одного цеха в другой, с низшего уровня на более высокий, произошел очень литературно. Известна история о том, что вы ушли из журнала в творческий отпуск, взяли 5000 рублей в долг, купили катушечный магнитофон и принялись брать интервью

у женщин, которые воевали. Кто дал вам тогда денег?

– Василь Быков, Янка Брыль, Алесь Адамович.

– А почему магнитофон катушечный, уже были кассетные?

– Так я и купила кассетный. Импортный, кто-то из знакомых привез из Германии – и продал мне.

– Что за творческий отпуск такой?

– Это я в журнале «Неман» взяла отпуск, обычный, очередной – на месяц. Я решила тогда попробовать. Попробовала – и стала так работать.

– Эти ваши тексты из будущей книги «У войны не женское лицо» брали в журнал?

– Нет, конечно! И потом, когда я сделала книжку, ее два года не печатали. «Ремаркизм не пройдет! – сказал мне цензор. – Ремарка начиталась?» Видно, он подумал, что я занята не тем, что не надо так писать о войне.

– Ремаркизм – и маркесизм. Маркес, как вы, бросил журналистскую работу и сел писать книгу, денег в семье не было до такой степени, что он заложил фен жены.

– Ну, со мной такого не было, фен я не закладывала. Тогда я не знала этой истории про Маркеса, а когда услышала ее, то долго смеялась. Кстати, и его тоже долго не печатали!

– Он говорил, что писал романы для денег, а на эти гонорары занимался журналистикой. Тоже похоже!

– Я скоро лечу в Колумбию – только потому, что – Маркес. Из-за Маркеса. Как он это перекручивал, какие рембранд-

товские мазки у него! Посмотрю, что там за жизнь...

– «Писать прозу о кошмарах XX века кощунственно. Тут нельзя выдумывать. Правду нужно давать, как она есть. Требуется “сверхлитература”». Кажется, это Адамович сказал? И вот еще New Yorker написал по вашему поводу, «до сих пор Шведская академия не признавала документальную прозу “литературой”, но вечно этот снобизм существовать не может. Считать замечательных авторов “недописателями” лишь за то, что они описывают действительность, по меньшей мере странно». (Понятно, что там главный редактор – журналист Дэвид Ремник, помню, в начале 90-х он был собкором в Москве от какой-то газеты, и мы с ним пересекались тогда. Но тем не менее.)

– New Yorker! И я себе всегда это говорила.

– А вот «Я помню чудное мгновенье» – это fiction или non-fiction?

– Ну ясно, что это перевод чувств на язык слов... Все-таки это fiction.

– Не описание факта? Не журналистика?

– Не-е-ет!

Вот вы можете то-то вырвать из жизни человека. А я же концентрирую рассказ так, что вся жизнь там. Это мой подход. Человек говорит вроде только про войну, но там он весь сидит.

– А Библия – fiction или non-fiction?

(Смеется.)

– Ну что ж вы смеетесь, я вас серьезно спрашиваю!

– Я даже не знаю... Ее столько раз переписывали.

– И все-таки где ее опубликовать, если что – на сайте «Проза» или на сайте non-fiction?

– Вот у меня сейчас фильм вышел по «Чернобыльской молитве». Швейцарский режиссер снял. Там такой модный сплав: fiction и non-fiction. Ну вот а летопись – это что? Скажете, non-fiction? А Монтень – я сильно сомневаюсь, что все именно так было, как он описал.

– Хорошо, я принял ваш ответ. Вы не хотите отвечать на вопрос «Библия – это fiction или non-fiction?». Это ваше право – уйти от ответа. Имеете право, вы же женщина.

– Ну, пишущий человек – это такой андрогин... Вот скажите, Шаламов – это fiction или non-fiction?

– Ну что же, вы изящно парировали мой удар... Шаламова я читал в самиздате, понимал, что это великий писатель... О! Смотрите! Я ответил на ваш вопрос. Ответ выскочил из подсознания, это я про словечко «писатель», то есть, не задумываясь, я его записал в фикшн... Кстати, вот еще что по этой теме пришло мне на ум. У вас, кстати, была красивая ситуация, как у Булгакова. Помните, там были слова: «Этот добрый человек ходил за мной, но он все неправильно записал, я этого не говорил!» (Цитирую по памяти.) У вас был ветеран Афгана, который сперва вам все рассказал про свою войну, а потом стал бизнесменом и обвинил вас в том, что вы неправильно за ним записали.

– Да, со мной это было. И меня же еще судили на книгу «Цинковые мальчики»!

– Синедрион!

– Там прозвучало: «Вроде они всё так и говорили, но вы какой-то другой смысл в это вложили». Одна женщина сказала: «Я вам просто хотела рассказать про сына, и рассказала правду, – но писать-то надо другое! Что ж вы так просто пишете, теми словами, какими я вам и рассказала! Так нельзя, надо другими!»

– Вы просто попали внутрь библейского сюжета.

– Очень интересно было во время того суда! Если б не было их жалко, этих несчастных людей...

Батька Лука

– Лукашенко не любит вас. Не поздравил даже!

– Он же никак не отреагировал. Только в первый день, когда объявили – это как раз был день его выборов – он сказал что-то вроде одобрительное. Я ему подпортила картинку, конечно. Его тема была главной, и вдруг – стали говорить и про меня.

– Вы могли как-то пораньше или попозже получить премию? Не уважили вождя.

– О премии объявили, когда шли выборы, тут было полно наблюдателей. Он к концу дня сказал, что рад премии. Через два дня, когда все разъехались и объявили, что он победил –

хотя у нас никто же не считает, он сказал: «Она клеветает на русский и белорусский народы». Я понимаю, если бы был интеллектуальный разговор с противником. А так... Мне зло в таком примитивном виде – не интересно.

– Батька – суровый!

– Он Нарцисс. Не любит, чтоб еще кто-то рядом с ним был.

– Ну, теперь ваш – против нашего – выглядит уже не так экзотично.

– Вот – он поехал в Турцию! Ведет себя так, будто он президент большого государства и не зависит от Путина.

– Но Батька же сделал много хорошего для белорусов. Этого нельзя отрицать. Какое-то более или менее есть же у вас равенство. Он, маневрируя между Европой и Россией, добивается каких-то поблажек для народа своего, – скидок на нефть, газ, железо.

– Это – да.

– Это же стиль государственного деятеля!

– Но он остановил время. Оно не движется никуда.

– А вам бы хотелось олигархов и чтоб они вывезли все деньги в Панаму? Было б лучше?

– Да тут особо и денег нет.

– А было б хорошо, если б он передал Березовскому всю вашу экономику в управление? Борис Абрамыч очень хотел тут у вас что-то получить...

– А знаете, что мне Березовский говорил? Когда я полу-

чала премию «Триумф»? Он тогда подсел ко мне за столик – а там еще были Жванецкий и Вознесенский, – и мы немного поговорили. Я его спросила: «А чего это вы вот так заигрываете с Лукашенкой?» И он ответил: «Светлана, я хочу вам сказать вот что. Я знаю всех главных политиков на постсоветском пространстве, – а Батяка тогда только второй год был, – так вот это один из самых талантливых». Я ему не поверила тогда. Но вот прошло 20 лет, есть о чем задуматься... А мы же тогда смеялись над ним: колхозник! Политическое животное! Я все время помнила эти слова Березовского...

– Вот так часто мы считаем себя умными, а потом оказывается...

Передатчик или ретранслятор?

– Старый спор: писатель – это передатчик или ретранслятор? Одни говорят, что они придумывают и записывают придуманное, а другие уверяют что у них само пишется, приходят откуда-то мысли и переходят на бумагу...

– Ничего само не пишется. Насчет трансляции могу только сказать, что я не могу себя транслировать бесконечно. (Это про интервью и выступления, которые после присуждения ей «Нобеля» идут бесконечно и давно ее утомили. – И. С.)

– Ну вы, наверно, таки ретранслятор, – вы ж даете людям сказать, передаете нам их слова. Пропустив их через свою

редактуру.

— Да, даю сказать тем людям, которых никогда не слушали. Я ищу ответы на вопросы, которые меня интересуют. Мне самой хочется понять какие-то вещи. И то, что я поняла, то, к чему я пришла, — я высказываю через посредство вот такой формы. Как это назвать? Даже не знаю как. Ретранслятор? Я не очень задумываюсь о таких вещах. Для меня важен сам процесс познания как такового.

— А вы могли бы искать ответы на свои вопросы, познавать мир, людей — и не транслировать это? Чисто для себя? Ни с кем не делиться?

— У меня же профессия. Это наша с вами профессия... Я ничего другого делать не могу. А вот вы — могли бы говорить с людьми и не писать?

— Не знаю. Не пробовал. Вот я часто задаю себе вопрос: если бы мне платили зарплату, как депутату Госдумы, и мне не надо было зарабатывать на хлеб, то что б я делал? Возможно, просто лежал бы на диване...

— Я бы все равно писала.

— Вы — да. Вы давно уж получили кучу премий и денег, но пишете. А я? Пока ответа нет. И вот у вас появилось еще больше свободы. Вы можете теперь вообще все сказать. Может быть, для вас настало время некой новой откровенности. Вы уже можете сказать вообще все что угодно, и никто ж не отмахнется от слов нобелиатки, все будут вникать, думать! Есть у вас вот такая новая свобода? Исповеди дочери века

можно от вас ждать?

– Это зависит не от успеха, не от звания, – а от внутреннего какого-то движения. Действительно, я рада, что движусь. Успех – и эта премия – дают не расслабление, а наоборот, ответственность: я не могу уже сказать все. Вот недавно в самолете ко мне подсаживается журналист, друг мой. Мы говорим про разное, а завтра... я читаю это в газете. Я не собиралась это публиковать! Мы что угодно можем сказать в беседе, сгоряча, не для всех. Ответственность другая теперь! Это не то, что мне мешает, но я так небрежно не могу уже говорить... Вот у нас тут национальная элита зовет людей выходить на площадь. [На акции протеста.] Дети идут... Но элиту освобождают, если начинаются задержания, – у них же корочки. Меня тоже отпустят. А эти дети... Их выгонят из университета, и еще по голове дадут, инвалидами какие-то дети стали... Нет, я не берусь молодежь звать на помощь. И вообще, я не люблю толпу...

– На митинги вы не зовете никого. А исповедь напишете?

– Не думаю, что я свою жизнь могла бы открыть.

– Да, вот вы как-то сказали, что со страхом думаете – и вас могут начать расспрашивать про любовь... Как вы про нее спрашиваете других, для своей книги.

– Нет, я не хотела бы так обнажаться. Что мне интересно, так это само движение мысли. Постижение, догадки... Что меня сегодня может остановить? Только мое незнание.

– Незнание чего?

– И жизни, и человека. Нельзя же сказать, что я сегодня дошла до какого-то абсолюта в знании. Что я все знаю о том, что еще можно спросить у человека. Я еще не догадываюсь о чем-то. Хотя, наверно, сегодня я могу больше спросить, чем в первой книге. Сегодня моя книга о войне была бы другой, более жесткой. И там было бы больше человека биологического. И больше было бы правды. Я все-таки человеком своего времени была. Я была романтический человек. Сохраняла еще тогда, благодаря папе, веру какую-то. (Отец ее был убежденный коммунист. – И. С.)

– Если б вы тогда сделали такую книгу, более откровенную, – то вас еще меньше бы поняли, в то время.

– Да, тогда бы – не поняли.

– Я все думаю про новую откровенность. Помните, ваш коллега Гюнтер Грасс признался – после получения «Нобеля», – что в войну служил в СС. А в молодости он себе такого не мог позволить – сделать такое признание. Я жду, что и у вас будет какой-то coming out, теперь, когда все позволено!

– Нет. Ничего не будет. Это неинтересно.

Учить народы

– Бывает, что кто-то из великих пишет: «Я знаю, что делать!» И учит народы, ну вот как Томас Манн или академик Сахаров. В таких случаях вспоминается Гумилев, который просил жену Аню пристрелить его, когда он начнет па-

сти народы. Вот, например, Владимир Сунгоркин. Главный редактор «Комсомольской правды». Он говорит либеральным журналистам: «Ах вы умные? Вы учите русский народ? А я не учу! Я даю ему то, что он хочет, гляньте на тиражи моей газеты. Посмотри на себя – ты хочешь учить русский народ? У меня нет такой амбиции, я себя таким умным не считаю». И вот Путин тоже, значит, лучше знает народ? Вон у него какой рейтинг. И Кадыров лучше знает? И Батька?

– Вот Батька говорит: «Я должен делать то, чего хочет народ, но быть чуть впереди». Они, значит, знают народ лучше, чем мы. К сожалению. Но мне больше нравится все-таки Вацлав Гавел.

– Так у него другой народ.

– И тем не менее – если бы не Гавел, то между Чехией и Словакией могли быть проблемы. Когда они разделялись.

– Но в 68-м они сопротивлялись. Не боялись советских танков. Я знавал одного чеха с пороховыми синими такими крапинами на лице, он пацаном пытался жечь русские танки. Это чехи. Но может ли наш народ понять и принять Андрея Сахарова?

– Или наш народ – Алесь Адамовича? Даже Горбачев, и то чужестранцем был.

– Так что же получается? Мы такие умные, что беремся учить свои народы?

– Я не ставлю такой сознательной цели – учить народы. Но все-таки не думаю, что должна идти на поводу у масс.

Я так не думаю! Надо быть чуть-чуть впереди – насколько можешь. Все-таки я хочу сказать о том, что мир сложный. Человек – это более сложное существо, чем нам пытались внушить. Разве это называется – учить? Что ж мы – должны быть толпой? Разве мы должны разделять суеверия века? Я не считаю так...

– Вот я вас и спрашиваю, как простой журналист у вас, признанной мировой знаменитости: «Что делать? Кого и как учить?»

– Элита должна быть элитой. Должна делать свое дело.

– А кто назначает людей в элиту?

– Никто не назначает. Просто появляются люди, которые что-то новое нам могут сказать. Не наметить пути – эти слова не работают, но какие-то новые смыслы обнаружить. Ко мне иногда подходят люди, задают вопросы, признаются, что им нужен кто-то, чтоб он говорил с ними. Я не думаю, что я должна стать толпой. Я не говорю, что я великий человек, но писать – это все-таки немного просветительство. Давайте остановимся на слове «просветительство».

– Ага, то есть учить народ – это как-то неловко, а просвещать – нормально!

– Да. Учить – это значит много брать на себя. Искусство должно быть немного скромнее. Вот Достоевский – учил он народы? Учил, получается?

– Наверно, учил. Учил отношению к евреям, к примеру... «Дневник писателя».

– Да, это было ужасно. Но его литература! Он пытался писать о подпольном человеке, разобраться в этих потемках человеческих! У него каждый кричит свою правду! Вот мой главный принцип в книгах – чтоб каждый кричал свою правду. У меня не судейская роль. Но у меня есть мировоззрение, есть свой взгляд. Я даю каждому кричать о том, кто он, что он. А из этого рождается такой образ времени.

Национальный вопрос

- Кстати, национализм – это хорошо или плохо?
- Ну в каких дозах смотря. Надо еще послушать, что националисты говорят!
- Французский националист де Голль же всем нравился.
- А у немцев был же тоже национализм.
- Про немецкий нас научили думать, что он плохой. А белорусский – хороший?
- Нет, не хороший. Белорусские националисты говорили, что Смоленск – белорусский город, и Вильнюс – тоже наш, и что мы должны забрать наше у литовцев. Так странно было все это слушать тогда! Я была у басков несколько лет назад и видела там, что такое национализм – когда профессор-космополит, человек широких взглядов, ходит с охранником. Иначе никак. Все так осторожны... Если там какой-то писатель хотел со мной поговорить, то он гулял со мной по улицам, якобы показывал приезжей город. Я поняла, что чело-

век, скованный страхом, – он нерентабельный. Он как парализованный какой-то. Такое ощущение... Теперь никто никогда меня не убедит, что национализм – это хорошо.

– Вы говорили, что вы человек мира. То есть вы можете про себя сказать, что вы космополит?

– Да, вполне. Мы с вами космополиты.

– Но вот гражданином мира вас назвать нельзя. Хотя бы потому, что у вас нет американского или израильского паспорта. И вы не можете без виз разъезжать по планете.

– Я имела в виду мировоззрение.

– А вы попросите израильский паспорт, вам, небось, дадут! Хотя – да, теперь же вас и так везде пускают. Куда захотите! А если нужна виза – так и домой принесут.

– Нет, не принесут домой. За британской визой я вот поеду в Москву.

– Как так – в Москву?

– А их посольство, которое тут, – оно не дает виз. У нас есть неполноценные посольства. На Белоруссии экономят, не считают ее за страну. Чуть Израиль не ушел от нас – а то хотел закрыть у нас посольство! И это очень уязвляет нашего Лукашенку. Что вот вроде у нас неполноценное государство.

– Я кстати заметил, тут звучит тема, что Украина – богатая страна! Люди говорят: «Если уж ее отпускают в Европу, то нас тем более».

– Да у нас ничего нету, с нашей точки зрения Украина – богатая страна! Там есть что брать.

– И она выглядит отсюда более значительной.

– Да, конечно. 60 миллионов (в действительности на 01.01.2016 г. около 43 млн, на 01.01.2014 – 45,5 млн. – *Ред.*) и 10 миллионов населения – как вы думаете, есть разница?

– Господи, как это трогательно... Вы говорили, что за три дня можно любого превратить в животное.

– Я хочу вам сказать, что свидетели событий в Донбассе – как с той, так и с другой стороны – рассказывали мне, что в каких-то ситуациях мгновенно слетает культурный слой. Не все же там как Моторола, некоторые же шли за идею. Или русские войска в Чечне? Я там не была, но мне рассказывали. А в Афганистане я была. Я там, когда разговаривала с ребятами, поняла: им важно было опустить афганцев ниже себя, вот как немцы это делали. Вот почему фашисты так легко убивали? Потому что они славян опускали ниже себя. В животный мир. Вот убивают же курицу – ну и славянина можно убить, где-то так происходило. Наши ребята в Афганистане смеялись над местными: «Вот у них туалетов нет!» Я им напоминала: «Про твою бабушку немцы тоже говорили, что она ходила в «лёпухи», так немцы произносили «лопухи».

– А они, солдатики, что на это говорили?

– Да ничего. Хлопали глазами эти дети. Они таких вопросов даже не задавали себе. Пропаганда, политруки... «Да у них даже время другое!» – такой аргумент.

– Опоздавшие. Как мы. Так если можно любого за три дня превратить в животное, то, получается, культуру легко уни-

чтожить при помощи силы? Р-раз – и нету. А?

– Иногда так кажется. Особенно – сегодня. Люди теперь боятся будущего...

– А кто вам ровня из писателей в России?

– Да я про это и не думала. Не ставлю так вопрос. Могу сказать, кто мне интересен: только Ольга Седакова. Мы общаемся. Во-первых, таких образованных людей, как она, почти нет в литературе. Во-вторых, ее поэзия, да и любое ее интервью, – это просветительская работа! Вот это – разговор писателя! Тонкий, глубокий. Не самодеятельность какая-то банальная. А то, бывает, банальностями обмениваемся...

Лев Толстой: параллели

– Светлана, а вас никогда не удивляло, что вот Лев Толстой придумывал, придумывал, сочинял из головы, – а потом понял, что это все глупости и надо писать все как есть. Non-fiction.

– Вот это мне нравится! Он говорил, что когда-нибудь людям станет стыдно придумывать.

– А как вы миновали этот этап придумывания из головы? Почему вы сразу занялись описанием жизни? Вышли на позицию зрелого Льва Толстого?

– Ну не так чтобы... Я [сначала] пыталась сочинять! Писала какие-то стихи по молодости. Было, было! Я выросла в деревне среди голосов. Когда увидела книгу «Я из огненной

деревни» – поняла, что литература может быть и такой. Поняла, что и я так вижу.

– А что за стихи вы писали?

– Всякую чепуху. И про любовь, и гражданская лирика. Ничего уже не помню.

– Пардон, не могу уйти от параллелей с яснополянским старцем. Он хотел отказаться от авторских прав, чтоб его книги были доступны всем... Вот и вы какие-то свои книги разрешили бесплатно вывесить в инете, как Лев Толстой.

– На русском – да. В основном потому, что есть проблема с доставкой книг.

– А на белорусском – за деньги?

– На белорусском меня вообще никто не издает. Вот подпольно ребята издали...

– А, и напечатали в Литве. Известная ситуация!

– Да, да. А те мои книги, что выходят на Западе... Там по закону нельзя, чтоб они были в сети бесплатно. Я беру деньги, я же не птичка. Я просто спокойно и – повторяю – одиноко работающий человек.

– В чем-то вы Толстого даже превзошли. Вот он рассорился с официальной церковью, а вы к ней вообще не приближались. Вы, как известно, атеист.

– Абсолютно! Такого у вас нельзя произнести в России. Попробуй скажи в России: «Я – атеистка!»

– Я никому это про вас не скажу.

– Да говорите. Я верую так, как может верить художник.

Увидишь цветущий сад – и, конечно, подумаешь, что...

– Вы думаете, что человек произошел от амебы и от обезьяны?

– Что-то мне не очень в это верится.

– А откуда же он взялся, человек? Раз Бога, по-вашему, нет? Это очень важный вопрос... Я весь внимание. Вот пододвинул к вам поближе оба диктофона.

– Не знаю откуда. Не знаю. Но что-то мне насчет обезьяны – не очень верится...

– Но что ж тогда?

– Вы смотрели этот фильм – «Воспоминания о будущем»?

– Давно, мало что помню. *Осыпает мозги алкоголь.*

– Там есть очень хорошие идеи. Что какие-то высшие цивилизации принесли нас сюда. Мы же хотим переселиться на другую планету...

– Какую?

– Не знаю, но куда-то же отправляют космические корабли. Если мы отправляем, то почему и другие не могли этого сделать? Раньше нас?

– А откуда ж, в свою очередь, взялись инопланетяне?

– Ну не знаю, не знаю. Вы так меня спрашиваете, как будто я Лев Толстой. Откуда я знаю?

– Вы должны понимать, что мы ждем от вас ответа и на этот вопрос – о происхождении человека.

– Я не такая сумасшедшая, чтоб давать ответы на такие вопросы. Никто в мире не дал ответа на этот вопрос!

– Тут или-или. Или человека Бог создал – или он сам взял и произошел от обезьяны, это атеистическая версия. Надо что-то выбрать.

– Перестаньте шутить.

– Да я как раз не шучу. Я серьезно. Вот у меня нет сомнения в существовании Бога.

– А мне иногда кажется, что есть ангелы, и они такие хорошие...

– А души нет, по-вашему?

– Душа – есть. Ее, говорят, даже взвесили: пять грамм.

– По новым уточненным данным, вес души – 21 грамм. Так, кстати, называется фильм на эту тему. Еще про Льва Толстого. Тема опрощения. Вы ведь тоже живете в деревне, как он?

– Нет, это не опрощение вовсе, у меня дача! Там цивилизованно все устроено.

– Но одеваетесь вы, как он, просто. На вас – тоже крестьянская одежда.

– Это не крестьянская! Скорее – студенческая такая.

– Ну крестьянская – в том смысле, что вы носите обычную одежду, как все мы, не вижу на вас ни «Версаче», ни лабутенов, ни часов на вас золотых, ни перстней, ни брильянтов. Нет у вас в доме и прислуги.

– У меня есть девушка, которая помогает мне по хозяйству, чего греха таить.

– Ну я просто пытаюсь подтасовать фактуру, подогнать

под готовый ответ. Живете просто, без роскоши. Много работаете.

– Толстой говорил жене: «Какая любовь, если ты не можешь рожать?» Он не понимал, как можно жить с женщиной, если она больше не способна рожать. Вообще старик он был достаточно такой...

– Сумасшедший?

– Сумасшедший, да.

– Насчет Бога и веры – здесь-то ладно, а ну как на Западе спросят?

– Запад еще более атеистический, чем мы. Религия там – это не более чем ритуал.

Деньги

– А те деньги, 5000 рублей, которые вы брали в долг при советской еще власти, – вы вернули?

– Да. С гонораров, с премий – например, Ленинского комсомола.

– А теперь на «Нобеля» вы купили еще больше свободы. И будете писать, что захотите.

– Да я всегда пишу, что хочу. Я давно уже в этом плане счастливый человек.

– То есть в этом плане ничего в вашей жизни не изменилось.

– Ну вот я смогла купить квартиру новую. Сейчас там ре-

монт доделывают. И дом в деревне – получше, чем тот, который у меня раньше был.

– И теперь к вам кто-то может прийти и попросить 5000, чтоб написать некую книгу.

– Да, я дам без возврата. Если увижу, что это умный человек.

– Вы уже объявили какой-то конкурс на лучшую заявку?

– Нет. Я помогла людям, которым действительно плохо, – у нас сейчас интеллигенция в тяжелом состоянии. Мы создадим интеллектуальный клуб, чтоб туда приглашать со всего мира интересных людей – я буду доплачивать им. Надо, чтоб приезжали люди и шевелили наше болото.

– Ну и вам не нужно много денег – вы ж не тратитесь на водку, на женщин...

– Но я могу помогать близким. Да и денег нет таких прям громадных, у меня ж нет миллиардов.

– Да и миллиардеры иногда жалуются, что им не хватает... Вы, кстати, про деньги не думаете написать книгу? (В дополнение к анонсированным книгам про старость и про любовь.)

– Нет. Эта материя мне совсем не понятна. Я не могу понять время, и еще – что такое кровь (жизнь же там). И – деньги.

– Карбована воля!

– Да. Это же интересно! Там скрыто столько всего. Об этом надо думать! Но я просто не думала об этом. Вот зачем

Абрамовичу столько денег?

– Ну может, они не ему принадлежат...

– Я тоже про такое слышала.

Творческий метод

– Когда мне задают такие вопросы [как ваши] в лоб, я считаю, что это непрофессионально. Я никогда так впритык не спрашиваю. Ответы можно соткать из общего мироощущения человека. «Любовь – что это такое?» Представляете, вот такое спросить?

– Почему нет? Я легко вам могу ответить на этот вопрос.

– «А вы любили?» – представляете, вот так спросить?

– Я? Конечно, любил. Разумеется.

– Нет, я так не разговариваю. Я более вкрадчиво спрашиваю.

– Ну, вы же женщина.

– Человек рассказывает свою судьбу. Какие-то вещи меня цепляют, а значит, думаю, и моих современников тоже. Но напрямую я вопросов не задаю. Это несерьезно. Непрофессионально!

– Ну так смотрите, где вы – и где я! Я – простой репортер, которого повыгоняли из всех СМИ, а вы – классик, признанный во всем мире. Так что правота, как мы видим, на вашей стороне...

– Нет, просто я знаю, что есть вопросы, на которые нет от-

ветов. Во всяком случае, современное человечество не обладает этим знанием. Я долго думала над Чернобылем – это же новый мир, новые отношения со временем, с пространством. И с животными – вторым миром. У нас нет знаний, чтоб дать ответы на эти вопросы. Я помню, как на острове Хоккайдо японцы говорили мне про мою книгу «Чернобыльская молитва»: «Да что вы, такого не может быть у нас! Это у вас, у русских, безалаберность, а у нас все просчитано!» Но я видела, что наше знание мгновенно стало кучей мусора. А потом я видела кадр из Японии, там пароход висит на чем-то, его выбросило на берег.

– А вот есть версия, что мы знаем гениев максимум второго ряда – Христос, Будда. Но есть еще мудрецы первого ряда. Они настолько умны, что им не о чем с нами разговаривать. Понимают, что бесполезно. Они жалеют Христа, который стал что-то объяснять, а его не поняли – судя по тому, как люди живут. Храмов настроили, а что толку? Короче, верховные мудрецы держат свое понимание – при себе.

– Их знание уходит в высшие миры? Вы любитель таких теорий. Вот была работа одного физика, там храмы описываются как центры дальней космической связи. Есть люди, которые считывают информацию, – несомненно. Я несколько раз с ясновидящими разговаривала, и мне показалось, что они знают что-то. Некое высшее знание им дано. Меня интересуют эти вещи... В моих книгах много иррационального. В «Цинковых мальчиках» есть рассказ одной матери. В

тот момент, когда сына убили (ей потом его друзья рассказали все подробно, с точностью до секунды), ей показалось, что кто-то звонит в дверь. Она выскакивает – никого нету. У женщины умер по-настоящему любимый муж – а она в этот момент взяла в руку стакан – он ни с того ни с сего рассыпался. Почему-то раскололся горшок с цветами. Вот такие вещи... Меня интересуют эти знаки. Но – не в конспирологическом смысле.

– Значит, если к вам придет некая еще более высокая мудрость, вы перестанете публиковаться?

– Нет, нет. У меня такого никогда не будет. Потому что у меня хорошая крестьянская закваска!

– А Сэлинджер? Помните, как он перестал публиковаться? Имея славу и деньги? Как вы это понимаете?

– Я этого не понимаю. Мне кажется, это одиночество человека, пресыщение какое-то. Недоверие к обычной инерции жизни. А мне нравится просто жить!

Итого

– Видите, Светлана, я пытался вас расспрашивать, – хотя это вы – спец по разговорам с людьми. Наверно, я неправильно вас спрашивал, уж не обессудьте.

– Ну, вы серьезно подготовились к интервью, у вас вон вопросы записаны на бумажках... А вот я прихожу к людям без плана.

– Так с кем вы говорите – и с кем я! Вы простых людей с улицы расспрашиваете, кого попало, – а я-то к мировой

звезде пришел, к нобелиатке!

– Да, да, да.

Смеемся.

Юрий Арабов: «Литературы русской фактически нету»

Юрий Арабов для нас был сперва автором тонких стихов, и знал его узкий круг яйцеголовых; поэту непросто раскрутиться, если он не воюет с царем или с ЦК правящей партии. Но после он прогремел не стихами, но своими сценариями, из которых самые звучные – «Молох», «Телец», «Солнце». Это был выход на международный уровень, – а как еще расценивать приз Каннского фестиваля.

Как художник Арабов интересен еще и тем, что не следует за киномодой: так, он принципиально избегает описания сцен насилия в своих сценариях. Бежит от моды – а все равно славен и успешен.

Юрий Николаевич Арабов родился 25 октября 1954 года в Москве. Пишет стихи с 1972-го, печатается как поэт с 1987-го. Окончил ВГИК, с 1992 года работает там – заведует кафедрой кинодраматургии. Член Союза кинематографистов, Союза писателей и Русского ПЕН-центра. Член редколлегии журнала «Киносценарии». Получил премии: «Золотой теленок», Каннского кинофестиваля (за лучший сценарий, 1999), фонда «Знамя» (1999); «Медный всадник» (2001).

Автор книг стихов: «Автостоп» (1990), «Простая жизнь» (1991), «Ненастоящая сага» (Париж, 1992). Издал книгу эссе «Механика судеб» (1997) и роман «Флагелланты» (2006). Произведения Арабова переведены на английский, польский, финский, французский языки.

Фильмография:

1987 – Одинокый голос человека

1987 – Скорбное бесчувствие

1988 – Дни затмения

1988 – Господин оформитель

1990 – Николай Вавилов

1990 – Сфинкс

1992 – Присутствие

1992 – Сердце не камень

1999 – Молох

2000 – Телец

2002 – Игра в модерн

2004 – Солнце

2005 – Дело о «Мёртвых душах» (сериал)

2005 – Доктор Живаго (сериал)

2006 – Ужас, который всегда с тобой

ВГИК

С Юрием мы познакомились несколько лет назад в ресторане. Там за ужином собралась группа товарищей, желаю-

щих экранизировать «Тараса Бульбу», – до того как за дело взялся знаменитый режиссер Бортко со Ступкой-Бульбой. В нашем случае ничего не вышло, концессионерам не удалось договориться. Один хотел рабски следовать книге. Другой предлагал сделать Бульбу и сыновей чеченцами, а действие перенести в XIX век, и чтоб парни учились в Питере, а папашу навестили на каникулах. Третий насчет чеченцев был согласен, но только чтоб это был самый конец XX века, а студенты приезжали в аул из Лондона...

Новая встреча с великим сценаристом прошла во ВГИКе, куда маэстро заехал из своей владимирской деревни (в которой старается проводить лето и осень) принять экзамены.

Пока я искал назначенный кабинет, встретил в институтских коридорах множество девушек, они гордо себя несли и грамотно подавали, будто это подиум.

– Вот, Юрий, ВГИК полон девиц, которые пришли за славой, для того чтоб президенты сверхдержавы ухаживали за ними, как, бывало, за Мэрилин Монро, – с чего ж еще было начинать беседу.

– Ну конечно, 90 процентов людей пришли сюда из-за честолюбия. А вот оставшиеся 10 процентов... Среди них есть довольно любопытные. Внутри у них некий нерв, струна, которая требует реализации.

– Им бы в таком случае в Литинститут – и после на чердаке сочинять нетленку в стол...

– Литинститут? Вы же знаете, что литератор у нас не мо-

жет социализироваться. Он не может существовать на деньги от своих произведений. И вообще – какой смысл сейчас писать романы, если тебе на его написание и отделку потребуется полгода, не меньше, – и за это получить в итоге 500 долларов?

– Ну не пятьсот, а две тысячи.

– Да хоть и две тысячи – за полгода работы разве много? Да и то две тысячи – это очень хорошая ставка.

– А сценарий худо-бедно стоит...

– Не хочу обсуждать.

– Сами знаем: от 10 000 до 100 000 долларов.

– Примерно так. На эти деньги уже можно существовать!

– А вы чему учите студентов, какое кино делать – кассовое или авторское?

– Нет, нет. Я учу общим законам драматургии. Которые нам достались от античности. Но, естественно, в приложении к современному кинопроцессу. Я не настаиваю на том, чтоб студенты делали кино такое или этакое, – пусть делают что хотят. Мне все равно, что это такое будет – Бергман или Спилберг. Решат сами. У нас только требование общее для профессии: чтоб в сценарии были завязка, кульминация, развязка и причинно-следственная связь.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.